

ЧАВУШ-ОГЛУ

Горячее июльское солнце над крышами белых домиков. Тихо и пустынно в этот час на улицах рабочего городка. Все живое укрылось от зноя.

Пойдем и мы, любезный читатель, под тень чьей-нибудь веранды или густой виноградной лозы, посидим в прохладе... Ну хотя бы вон в тот невысокий домик, утонувший в зелени, мирный и приветливый. Окна его светлые, манят к себе, хотя не очень видны сейчас из-за щедрой листвы персиков и сливы, и только остроконечная крыша поднимается над деревьями и алеет в пламени солнечных бликов.

Этот дом Мустафы Чавуша, или, как называют его добрые соседи, подчеркивая свое уважение к сединам хозяина, Мустафы-ага Чавуш-оглу. Можно было бы продолжить перечень эпитетов, адресованных старому Чавушу, но и то, что его почтительно приветствуют словом «ага», как старшего брата, говорит о многом. Для нас с вами достаточно одного имени, которое честные, трудолюбивые люди передают своим детям из поколения в поколение.

Но прежде чем стать гостем старого Чавуша, нужно перейти чугунный мост, соединяющий берега канала, свернуть на улицу Рават, проследовать по ней вдоль изгородей, обросших зеленью, миновать продуктовый ларек — он сейчас закрыт на обед — и остановиться у зеленой калитки. (Да, зеленой. Старый Чавуш любит этот цвет — цвет жизни.) Постучаться. Уверенно постучаться, ведь сегодня воскресенье — день, когда степные, утомившиеся за неделю люди сидят дома.

Конечно, мы не ошиблись. Можем войти, раздвинуть ветви, подступающие к дорожке, окунуться в тень веранды. Вслушаться в тишину. Чавуш любит тишину. Сейчас он сидит на сете, подобрав под себя левую ногу, а правую вытянув во всю длину миндера. Сидит с закрытыми глазами. Но не спит. Не имеет обыкновения он спать днем, да и кто, живущий трудом и хлопотами, способен предаваться дреме в такой час. Занят своими мыслями Чавуш, думает...

О чем думает старый Мустафа? Кто знает... Может быть, о жизни, что проходит, отнимая у человека год за годом, или о бренности всего сущего, что имеет начало и конец, приносит горести и надежды. До конца еще далеко, силен и крепок Чавуш, как сильны были его предки. Но если седина царствует в когда-то каштановой шевелюре, а дом уже предназначен для внуков, приходится отсчитывать годы прожитые и те, которые осталось пройти.

Кстати, о доме. Его построил Чавуш собственными руками. В этом легко убедиться, если, приподняв голову, посмотреть на орнамент, выведенный на потолке вдоль края козырька, что защищает парадную дверь от дождя и солнца, а также на лицевой стороне оконных рам. Такое мог придумать лишь Мустафа-ага. Удивительный, причудливый орнамент. В нем что-то напоминающее тихую песнь, бесконечную, успокаивающую сердце. Таковую, какая звучит сейчас за открытыми ставнями в дремлющем саду, песню воды в арыке, стрекот ласточек.

О чем думает Чавуш? Никто не знает. Да и нужно ли знать?

Вот вышла из гостиной девушка. Стройная, легкая, торопливая. Тихо, стараясь не тревожить отца, который, может быть, дремлет, она позвала:

— Папа!

Мустафа-ага прерывает думу, уходит от занимавшей его мысли, открывает глаза. Нет, не спит Чавуш — ясен, беспокоен взгляд.

— Мне пора, папа,— продолжает дочь. — Нужно по пути забежать еще к Шемснур...

Конечно, у юной жизни свои тропы, они уже далеки от Чавуша, их скоро не будет видно. И как тяжело сознавать, что близкое, родное отрывается от тебя. Чавуш разгибает сомлевшую ногу, свешивает ее с сета, неторопливо поправляет рукой сползшую на глаза каракулеву папаху.

— Зеверджет,— говорит он так же тихо, как и дочь. Спокойно, но с заметным огорчением. — Зеверджет, доченька моя... Может быть, ты хоть сегодня побудешь дома... в воскресенье.

Она подходит к окну, совсем близко — так, что видит

морщинки вокруг добрых, лучистых глаз. Смотрит в них с мольбой.

— Это невозможно, отец,— негромко говорит Зеверджет, хотя стальная нотка звучит уже явственно. И ее хорошо слышит старый Чавуш. — Мы должны встретиться с Шемснур, повторить кое-что. Скоро сдавать технологию металлов...

Когда-то он тоже уходил из отцовского дома, тоже ссылаясь на занятия, на необходимость встречи с друзьями. Такова судьба, и от нее не укроешься.

— Технологию...— повторяет грустно Чавуш. — Коль технологию, так иди.

Они оба все понимают, и им обоим немного неловко, поэтому торопятся закончить разговор. Отец улыбается, он всегда провожает ее улыбкой, долго глядя вслед. Зеверджет уже сбегает по ступенькам крыльца и исчезает под висящими с перекладин виноградными лозами. Торопится вырваться из тишины и прохлады дома в шум и зной июльской улицы.

Чавуш видит за изгородью стройную фигуру Зеверджет, любит ее дочерью. Все знают, как красива Зеверджет. Красота у каждого на виду, хотя не каждый понимает, в чем она. В ясных линиях лица, в легком изгибе рук, в чарующей улыбке? Да и нет. Надо встретиться взглядом с Зеверджет. С чистыми, ясными ее глазами. Душа Зеверджет в них. Не омраченная, лучезарная, как сама весна. Вот в чем красота дочери Чавуша.

Долго прислушивается старый Мустафа к звукам удаляющихся шагов. Провожает дочь. До околицы, до чугунного моста, через который мы с вами только что перешли, до аллеи, что ведет к центру городка. Уже затихли шаги. Но Чавушу все еще слышатся они вместе с песней воды в арыке, вместе с голосами птиц. И когда, наконец, время для провожания истекает, он вздыхает с чуть приметной грустинкой и говорит сам себе:

— Иди, иди, дочь моя... Узнай все, что надо знать человеку на своем веку. И радости, и горести. Не опускай голову. Отец учил меня высоко держать ее. Мать корила: гордость не в том, что глаза глядят поверх людских голов, гордость — в умении не запятнать себя, не упасть под ноги идущим. Я не стану учить

тебя, Зеверджет, как держать голову... Только не опускай ее! Вот так говорил сам с собой старый Мустафа. Говорил с собой, говорил с дочерью, которая шла в это время где-то по улицам рабочего городка или сидела с подругой за учебниками. Или, может быть... Нет, Зеверджет не обманет отца, да и кто способен вскружить голову такой умной, рассудительной и гордой девушке? Где такой парень? Не видел его старый Мустафа, а взгляд прожившего долгие годы человека пытлив и придирчив. Поэтому спокоен Чавуш.

Хорошо, когда на сердце тишина, такая же тишина, как и вокруг. Дремлет мир под тяжестью зноя, баюкает его шепот воды и едва уловимый лепет листвы, сонная песнь птиц.

Но разве бывает тишина вечной? Вот кто-то осторожно скрипнул калиткой, тронул дорожку легкими башмаками. Чавуш настороженно поднял голову и увидел человека. Это была знакомая, но не всегда приносит она радость, а порою заставляет своим появлением дрогнуть сердце. На пороге стояла Ася. Дочь соседа, механика автобазы Николая. Впрочем, ни сосед, ни его принадлежность к автобазе тут не имеют никакого значения. Ася — почтальон, вот что главное, и в руках у нее письмо. Чавуш хорошо видит его,жатое в руке.

— Пляшите,— говорит Ася и лукаво улыбается.

Почему старый Мустафа должен плясать? Он давно уже не выходит в круг, когда веселятся гости. Годы не те, да и к лицу ли пожилому человеку, убеленному сединой, из-за прихоти девчонки пускаться в пляс. Тут к месту было бы возмутиться, отчитать эту веснушчатую Асю. Но Чавуш знает — не от глупости, не от дурной привычки идет просьба девочки. Еще на фронте он видел, как приплясывали бойцы при появлении почты, как замысловатыми коленцами вымаливали себе конвертик с весточкой из дому. Сам Мустафа не раз плясал. По-своему, конечно, по-татарски. Ася соблюдает традицию, смешную, наивную.

Надо бы улыбнуться старому Мустафе, засмеяться, а он, прищурившись, смотрит на руки почтальона. Смотрит молча, недвижимо.

— Вас не поймешь, Мустафа-эмдже¹, — хохочет Ася. — Думала, вы спите, а оказывается... — И ей тоже Чавуш представился спящим: сосредоточенность старого человека похожа на сон. Грустно даже и обидно. — Спляшите! Иначе не узнаете новость. — Какая новость? — пытается выведать тайну Чавуш.

Ася торопилась, бежала по горячей улице, скакала через арыки, взлетела на крыльцо — она не может спокойно говорить, слова заплетаются.

— Сын... Сын ваш едет...

А у старого Мустафы все еще медленная, словно в дреме, мысль. Даже торопливые, наталкивающиеся друг на друга слова Аси неспособны зажечь его. Да и слишком неправдоподобны они, чтобы в них поверить. И Чавуш отстраняет их от себя.

— Мой сын?!

— Да, да!

— Доченька, не надо шутить со старым человеком. У меня нет сына. А почему нет, ты сама знаешь, да и кто не знает на этой улице печали Чавуша-оглу.

Слетела с лица Аси беззаботная, веселая улыбка. Будто ее и не было.

— Я не шучу, Мустафа-эмдже, — виновато произнесла девочка. И светло посмотрела на старого Чавуша. И то, как она посмотрела, и как мягко, задушевно выдохнула слово «эмдже» — Ася с малых лет жила среди татар и бойко объяснялась на языке соседей, — все это заставило Чавуша поверить, вернее — насторожиться. Но лицо было по-прежнему каменно-спокойным, поэтому девочка принялась объяснять: — Я правду говорю... Вашего сына звали Дилявером? Ведь так вы говорили?

— Говорил... Ну и что же! Ты пришла напомнить мне это?

— Нет. — Горечь отразилась на лице Аси. — Нет, Мустафа-эмдже, но я могла ошибиться. Значит, Дилявером звали сына?

— Да! Да! — подтвердил Чавуш.

— Не сердитесь... На ваше имя пришла телеграмма...

¹ Эмдже — дядя.

О, как не любил телеграмм старый Мустафа! Все в них коротко, неожиданно, беспощадно.

— Распишитесь вот здесь! — сует карандаш Ася. И опять улыбается. Торжествует девчушка: права оказалась. Удивила, всполошила старика, от такой радости он и в самом деле в пляс пустится.

Чавуш, не глядя, ставит какую-то закорючку, осторожно берет из рук Аси телеграмму, словно боится. Не распечатывая, глядит на вестницу. Может, ему мешает посторонний человек? Так решает Ася и пятится к двери. Она уходит, словно растворившись в пестрых бликах солнца, разбросанных на дорожке, на листьях винограда, на кустах шиповника. Чавуш не замечает даже тени ее. Он видит только листок на коленях.

Как странно, что лоскуток способен скрывать слова, громкие, необыкновенные, вызывающие слезы счастья. Чавуш ничего не видит. Буквы прыгают перед глазами. Где очки? Господи, вечно Шефика прячет их в самый дальний угол. Ушла, а он теперь должен рыскать по всему дому, выискивать два несчастных стеклышка, без которых не увидишь чудо-слов.

Вот они, очки, на столе. На ходу надел их. Кое-как, на самый кончик носа. Вернулся и теперь уже торопливо поднес к глазам телеграмму: «Двадцать третьего выехал. Поезд тридцать четыре, вагон семь. Дилявер». Прочел еще и еще раз. Слезы побежали по лицу Чавуша.

— Дилявер!.. Сын мой... Боже мой, что все это значит? Мертвые не возвращаются,— прошептал с болью Мустафа-ага. — Никто не видел их обретшими жизнь и юность. Я же должен увидеть. Или испить горькое разочарование обманутого...

Пришла же в прошлом году страшная весть Меджиду-акаю. Родственник его Фурунджи Нафе, проживающий в Бухаре, звал на похороны сестры. Как мучился бедный Меджид! Бросил все и в лютый мороз поехал на похороны. А попал на... свадьбу ее сына Якуба. Ой, не дай бог таких шуток! Сердце остановиться может. Сердце, оно усталое, маленькое... Вон как стонет, как замирает от боли!

Чавуш сжал виски сильными ладонями, перетерпел легкое

помутнение в глазах, пошел снова в гостиную. Откинул с шумом крышку сундука, извлек из него пачку писем.

— Вот они...— Рука держала потемневшие от времени конверты. Он снова, в который раз, распечатывал их и громко, с каким-то вызовом судьбе, выкликал фразы: — «Дилявер Чавуш погиб в боях за Советскую Родину...», «Погиб в морском бою...», «Пал смертью храбрых...» Что все это значит?

Никто не мог ответить старому Мустафе. Никто не слышал его. Молчали стены, молчал сад. Тогда Чавуш вышел на веранду, увидел день, горящий в солнце, ощутил тишину. И стих сам, опустился на сет, поджал ногу, как это было недавно, задумался. Пришло наконец мудрое успокоение. Оно отдалило от Чавуша боль утраты, пережитой когда-то, приблизило надежду. Слезы неторопливо текли по щекам его, грустные и отрадные. Очень хотелось поверить старому Мустафе в реальность счастья. И он поверил...

Когда приходит радость, то человек или поет, или смеется, или принимается плясать. Не умел петь Мустафа, смеялся редко, одной улыбки достаточно было, чтобы выразить все его добрые чувства. Но в молодости Чавуш плясал. Лихо плясал. Так отчего же не дать волю ногам? Пусть правая отстает, бог с ней. Да и танец немудрен, что-то наподобие хайтармы или лезгинки. Ха, ха! Еще помнит Чавуш повороты. Быстрее, ловчее...

— Что с вами стряслось, эв! — вскрикнула во дворе Шефика. — Не эджус-меджус² ли посетил наш дом?

Голос жены не смутил Чавуша. Напротив, он еще шире раскинул руки. Изумленная, давно не видевшая ничего подобного, Шефика застыла на пороге. Ее и радовало, и пугало веселье мужа.

— Танцуй и ты, апакай³, — позвал Мустафа. — Танцуй, моя прекрасная! Ну, ну... Скорее же.

Она не сдвинулась с места. Только глаза распахнулись широко, выражая крайнее удивление. Тогда Чавуш взял ее за руку и

² Привидение.

³ Жена.

увлек за собой на середину веранды. Шефика шла, подчиняясь мужу, но ничего похожего на танец в ее движениях не было. Еще бы, она полдня ходила по городу в поисках маслин, едва не растаяла на солнце, струйки пота стекают по щекам, а сердце страшно колотится — до танцев ли тут. Да и зачем танцевать? Что за причина?

Правда, зря не станет веселиться муж. Не таков характер у Чавуша. Если уж пустился в пляс, значит, есть от чего. Пусть исполнится его прихоть. И Шефика подняла руки высоко, как крылья взлетающей птицы, повела плечами, плавно пошла вслед Чавушу. Не было в их жизни такого необыкновенного и такого упоительного танца. Старый Мустафа забыл о годах. Он все забыл. Он кружился и кружился.

Шефика делила с ним радость, не зная причины. А когда причина неведома, душа остается тревожной.

— Что случилось, эв? Чавуш не отвечал.

— Отчего все это вдруг?... — допытывалась она. Он молчал до тех пор, пока силы не покинули его и измученное тело не опустилось на сет. Тяжело дыша, Чавуш смотрел на жену и улыбался. Улыбался таинственно и радостно. Шефика тоже села рядом, как прежде, в первые годы их жизни, прислонилась к его плечу. Замерла в ожидании. Назовет все же причину этот упрямец? Сколько можно таиться! И тут она увидела на синей ткани миндера белый клочок бумаги.

— Что это? — с испугом спросила Шефика. — Откуда?

Трудно было говорить старому Мустафе — он задышался от усталости.

— Дилявер... — произнес он хриплым голосом. — Разве не видишь? Дилявер едет...

— Какой Дилявер? — Шефика-енге давно смирилась с потерей сына, проводила его в другой мир, выплакала горе материнское. И все-таки сердце почему-то горячо забилося. Стало страшно.

— Наш Дилявер, — твердо ответил Чавуш.

— Сын?! — Ей стало еще страшнее. Она уронила голову на

грудь Чавуша и зарыдала. — Я ничего не понимаю, акай⁴... Откуда едет?

— Откуда! С войны...

Шефика-енге не привыкла мыслить отвлечённо, жизнь представлялась ей вереницей событий, сцепленных друг с другом, движущихся в давно установленном порядке, и никто не мог нарушить его.

— Война ведь давно закончилась... И Дилявер... погиб...— Она с недоверием посмотрела на мужа. — Когда принесли телеграмму? — Бог знает, что мелькнуло в ее голове. Во всяком случае, не мысль о крепком здоровье мужа. — Разве я так долго ходила по городу?

— Полчаса назад... Ася, соседка наша, принесла...— пояснил Чавуш.

— А Зеверджет? Знает она о телеграмме?

— Ее уже не было дома.

На душе у Шефики-енге немного отлегло: значит, это не старая телеграмма и муж, видимо, здоров. О сыне она боялась думать — живой Дилявер пока что не входил в ее сознание. Вернуть его могла только реальность, а бумажка — это лишь чьи-то слова.

— Жив Дилявер, понимаешь, Шефика? Жив... Теперь уже ничто не могло пошатнуть веру старого Чавуша в чудо. Собственно, чудо перестало существовать. Кто-то ошибся, известив о гибели Дилявера. Поторопился. Увидел раненого и счел убитым. А Дилявер поднялся, билось его сердце. И вот возвращается.

Все просто, даже очень просто. Сколько таких неожиданных воскрешений произошло после войны. Пусть будет еще одно.

И все-таки многое оставалось непонятным.

— Почему телеграмма отправлена из Пензы? — недоумевал Чавуш. — Что там делать моему сыну?

Пришел черед енге убеждать мужа.

— Странно вы рассуждаете, акай,— развела она руками. — Почему из Пензы! Спросите у Фурунджи Нафе, почему он

⁴ Обращение к мужу.

находится в Бухаре, если он там живет. Наверное, дом Дилявера в Пензе.

— Не путай меня своими догадками, женщина! — раздраженно бросил Чавуш. — Кто не знает, что человек живет там, где он живет. Если дом Дилявера в Пензе, пусть будет так. Пенза, наверное, хороший город.

Счастье свалилось на Чавуша, а принять его он не мог. Не обычной дорогой пришло оно. Странной. Ладно, решил Чавуш, не стану бередить сердце сомнениями и догадками, придет сын — объяснит все. Ждать осталось всего три дня. Каков он, мой Дилявер? Десять лет минуло.

И опять занозистая мысль: а если изувечен? Не потому ли столько лет не давал о себе знать? Ох, ох! Безжалостна судьба человеческая. Не хотел видеть Мустафа сына калекой. На фронт проводил молодым, здоровым и должен был встретить таким же. В глазах стоял рослый, красивый юноша.

— А Зейнаб? — прервала мысль Чавуша енге.

Вечно женщины встречаются не ко времени.

— Что Зейнаб? — очнулся Чавуш.

Напоминание о Зейнаб омрачало нарисованную им картину. Зейнаб — жена Дилявера. Дороги войны отдалили молодую женщину от Чавушей. Искали ее долго. Очень долго. И не нашли. Несколько раз эвакуировалась, переезжала с места на место, а семь лет назад женщина из Андижана, бывшая соседка невестки, поведала печальную историю. Служила будто бы Зейнаб в танковой бригаде медсестрой и погибла на Кубани. Потерянного не вернешь. Смирились со смертью невестки Чавуши.

— Дилявер любил ее больше всего на свете,— твердила свое Шефика. — Что мы скажем сыну?

— Скажем правду.

— А вдруг жива Зейнаб? Потерялась только,— окрыленная радостной вестью о возвращении сына, предположила енге.

— Ты слишком многого хочешь от судьбы,— испугался Чавуш.

— Не гневи аллаха. Как бы, слушая глупые речи наши, он не отнял последнего.

— О аллах! — всплеснула руками Шефика. — Матери нужны живые дети. Разве грех думать об их счастье?

— Во всяком случае,— рассудил Чавуш,— сразу два чуда не падают с неба. Сама знаешь, любил я Зейнаб, хотя видел лишь раз перед самой войной. Лучшей невестки не сыскать. Да не наша с тобой воля.

Не легко было Шефике отказаться от Зейнаб — и ей приглянулась кроткая и красивая подруга Дилявера.

— Сколько лет искали ее,— вспомнила енге. — Сердце мое разрывается на части, как подумаю, что нет Зейнаб.

— Э, заладила сорока... Ну что ты терзаешь меня! — вспылил Чавуш. — Потерянный день не возвращается. Придет Дилявер, сам решит, как ему поступить.

— Второй раз он не женится,— твердо произнесла Шефика.

— Почему же? — опешил Чавуш. — Молодой мужчина — и холостяк. Без подруги, без детишек...

Шефика мгновенно отвергла все доводы мужа:

— Ты не знаешь Дилявера. Пока хоть крошечная надежда есть, он будет искать, будет ждать Зейнаб.

— Вы только послушайте ее! Оказывается, она знает своего сына, а я не знаю. Как вам это нравится? Да, Дилявер — копия моя. Все в нем от Чавуша.

Енге поднялась с сета и стала напротив мужа, подперев бока руками.

— По-вашему выходит, что я уже и не мать Диляверу? Или не я дала ему жизнь, не я выходила?

— Но, но! — оторопел Чавуш. — Не слишком, женщина! Будто ты одна растила сына, а я находился где-то в стороне. Да если хочешь знать... — Он запнулся, боясь обидеть жену.

— Договаривайте уж,— застыла в ожидании енге. — Замахнувшись, рубите!

— Э, да что там! — махнул рукой Чавуш. — Не нам решать за сына, хотя в нем я уверен, как и в Зеверджет..

Шефика вдруг улыбнулась лукаво:

— Уверены! Много вы знаете, сидя в своей конторе.

— А что? — наострил уши Мустафа. — Ты знаешь больше

меня, расхаживая по магазинам!

— В магазинах всякие люди встречаются,— увернулась от ответа енге.

— Не крути, старая! — шагнул к жене Чавуш. — Говори толком.

— А я и не кручу... Может так статься, что не Диляверу, а кому-то другому в доме придется устраивать свадьбу.

— Не трогай Зеверджет,— сурово предупредил Чавуш. — Ей надо закончить институт.

— Дочь так же дорога мне, как и вам. Только говорят, будто переписывается она с кем-то... Студент будто, учится в Москве или еще где-то там...

— О-о! — схватился за голову Чавуш. — Одна новость неожиданнее другой. Можно ли выдержать все это! Скорее подай фильджан кофе. Слышишь, апакай!

Что может сделать чашечка крепкого, как вино, и густого, как летняя ночь, напитка? Только взбудоражить сердце, а оно и так взволновано через край. И мысль горяча. Бежит куда-то, не поспевает старый Мустафа за ней. То возникает перед глазами одно, то другое, то третье. Встреча с сыном уже не казалась ему радостной. Слишком долго скитался где-то Дилявер, слишком долго молчал. Не находил: этому оправданий Чавуш. Простое объяснение его не устраивало.

Погиб?! Тяжело, больно узнавать о гибели сына, весть о смерти ранит, седина ложится на голову, сгибаются плечи, гаснут глаза. Но это горечь утраты, а не горечь отчаяния и позора. Пал смертью храбрых! Значит, бился лицом к врагу. Таким знал своего Дилявера Чавуш. Таким потерял. Таким хранил в памяти. Было светло на сердце. И с гордостью смотрел людям в глаза старый Мустафа.

Теперь смерть сменилась жизнью. Как обрел ее сын? Чем заплатил за воскрешение? Мужеством или трусостью? О, болит сердце Чавуша! Недоброе чует оно. Может ли человек десять лет идти к дому, если он свободен, если победил врага, если братья уже в родных местах с женами и детьми?

Сам Мустафа на второй месяц после победы покинул госпиталь. Помнит, как сегодня, с вещевым мешком за спиной спускался

по лестнице. Сил было мало. Тяжелые ранения давали себя знать. В сорок втором под Моздоком ему осколком снаряда раздробило берцовую кость. Чавуш тогда командовал орудием. Немец накрыл дивизион массированным огнем, разнес укрытия, искалечил почти всю прислугу. В военном госпитале в Махачкале Чавуша подлечили, вернули в строй, но правая нога оказалась чуть короче, и при ходьбе Мустафа припадал на нее. В сорок пятом, уже в Венгрии, фашистская пуля угодила ему в ребро, задела диафрагму. На этот раз пришлось проваляться на койке почти полгода, и последние залпы войны и торжество победы прозвучали где-то далеко от Чавуша. Стоя у окна госпиталя и глядя на ликующих людей, он смахивал добрую слезу со щеки. Было радостно и немножко грустно — не дошел вместе с товарищами до Берлина, не разрядил своего орудия о стены рейхстага.

— Ну-ну,— утешали его друзья по палате,— не горюй. Ты свое сделал. Пролитая кровь — подтверждение тому...

Свое сделал. Что-то сделал, верно. Сколько сумел. Не встретиться вражья пуля, смог бы больше. Чавуш готов был к тому. И возвращался домой с чистым сердцем.

Сейчас ордена и медали лежат в сундуке вместе с письмами близких, а тогда Чавуш украсил ими грудь и гордо шел по лестнице. Счастье быть воином, да еще победителем: ведь в победе есть его доля усилий.

С орденами этими Мустафа приехал на юг, к другу своему Эбу-Бекиру Матрабасу⁵. Приехал, чтобы восстановить силы на душистом горном воздухе, среди виноградников и роз. Да так и остался навсегда. Вначале жил в совхозе, у друга, потом перебрался в рабочий городок, соорудил свой домик и посадил сад. В душе он всегда был садоводом, как его отец и дед, и не мог не вырастить дерево под окном. Цветет, растет зеленая гряда, радует глаз. Сад Чавуша...

Подрезая яблони или подвязывая виноградные лозы, часто думал Мустафа о сыне, беседовал с ним. Конечно, судьба несправедлива, отняла молодую жизнь, сохранила уже

⁵ Матрабас — торговец пшеницей и мукой (прозвище).

угасающую. Диляверу бы сады сажать. А его нет. Теперь вроде судьба ошибку свою исправила, захотела вернуть Мустафе сына. Но вместо радости обрел он горечь. Придавило его раздумьями и сомнениями. Болит, ноет сердце.

Ничего не дал фильджан кофе. Не облегчил душу, не успокоил. На дне чашечки остался черный сгусток. Глянул на него Чавуш. Внимательно, словно мог что-то понять в причудливых линиях. Покойная мать различала. Странная древняя примета: если дно фильджана разрисовано кофейным осадком, значит, сложен путь человека. Можно даже предсказать, каков он, куда приведет, что подарит в жизни. Для Чавуша все это неведомо. Но он смотрит в фильджан, смотрит и вздыхает, чувствует, что не простым будет грядущий день, не принесет успокоения.

Первая встреча Зеверджет с мастером цеха оказалась довольно веселой. Для него, во всяком случае. После обращенных к нему слов девушки он принялся хохотать. Да так громко, что слышно стало в другом конце цеха. А потом сказал:

— У нас, милая, тут не детский сад...

Станный был человек этот начальник цеха. Все смеялся, когда ему присылали женщин. Не любил рабочих в юбках. А тут еще — девчонка. Ну просто школьница — и просится в цех. К крану.

— Я знаю, куда пришла, — ответила Зеверджет, когда начальник перестал смеяться. — И вы примете меня на работу.

— Не приму, пусть хоть сам директор приказывает.

— Примете, — спокойно повторила она, — и без директора.

Это было уж слишком. Смеяться больше не хотелось, зато появилось желание кричать, грубить, даже ругаться. Но ни того, ни другого Зеверджет не услышала. Она оставила начальника цеха одного со своими злыми намерениями.

Ей посоветовали зайти к секретарю комсомольского комитета. Тот не смеялся. Он был просто озадачен желанием девушки работать в трудном цехе, куда не принимали женщин. Во всяком случае, там их насчитывались единицы.

— Очень хочешь? — спросил он задумчиво.

— Очень,

- На любую работу?
— На любую... Но мне нравится кран.
— Ух ты! — оторопел секретарь. — Кран?
— Именно.

Он почесал затылок: трудную задачу задавала ему девушка.

— Ладно, посиди минутку...

Секретарь ушел. И пробыл где-то не минуту, и даже не десять минут, а целый час. Зато вернулся довольный, улыбающийся:

— Повезло тебе. Пойдешь на кран ученицей. Но условие...

Зеверджет не признавала никаких условий. Неужели за услугу, за доброе дело нужно платить чем-то?

— Будешь участвовать в заводском кружке самодеятельности,
— объявил секретарь.

— Хорошо... — улыбнулась она. — А вы сами, товарищ комсорг, бываете на вечерах самодеятельности?

Неизвестно, как понял девчушку секретарь, видимо, ее любопытство объяснил желанием встретиться как-нибудь в клубе. Ведь ему тоже было двадцать лет.

— Разумеется, — кивнул он.

— Значит, бываете... И ни разу меня не видели?

— У нас во дворце?! — смутился секретарь.

— У вас... Я уже два года состою в кружке. И не пропустила ни одного занятия.

Она могла бы засмеяться, как начальник цеха, но ей отчего-то стало неловко — попал парень впросак, лучше не заметить такое. И Зеверджет ушла.

На другой день она поднялась на кран. Впервые в своей жизни. Ей показалось, что поплыла по гладкой, спокойной воде. А может быть, даже полетела. Земля уходила из-под ног, вернее, цех — огромный, шумный. Он двигался вперед, назад, вправо, влево. И все происходило по мановению руки крановщика, которая лежала на рычагах. Рука Зеверджет потянулась к ним, но ее остановил крановщик — опытный, сосредоточенный и неторопливый человек. Делал он все обдуманно, и если уж вел кран, то без дергания, без заминок. Подавал подъемник в точно намеченное место. Научил этому и Зеверджет.

Через два месяца ученица превратилась в квалифицированного крановщика, а еще через месяц взяла себе ученицу — подружку Шемснур. Теперь они сменщицы. У обеих солидный для их возраста рабочий стаж и авторитет в глазах начальника цеха. Он наконец смирился с тем, что его рабочие ходят в юбках. Но строг с ними по-прежнему. Редко когда дарит улыбку девочкам — все больше хмурится. Даже когда хвалил Зеверджет на производственном совещании, то делал это насупив брови: пусть, мол, знает, не растаяло мое сердце.

Сегодня Зеверджет миновала проходную завода с особым чувством. Ей было очень радостно. На лице блуждала таинственная улыбка, та самая, что вызывает у подруг нетерпеливый возглас: «Ой, девочки, она что-то знает!»

Дабы не растерять тайну по дороге, она ни на кого не смотрела, ни с кем не заговаривала. Торопилась, словно ее послал кто-то с чрезвычайным поручением. Не задержалась и за проходной, где стайкой кружились девочки, охочие до всяких новостей. Ведь прошло воскресенье, а в воскресенье всегда случается что-нибудь необыкновенное.

— Зеверджет! — зовут они. — Куда ты? погоди! Скорее в цех, будто не слышала. А там — Шемснур. К ней и летела Зеверджет. И вдруг — недовольный голос:

— Что это ты, дорогая? Опаздываешь... Зеверджет не поняла, шутит подруга или говорит всерьез.

— Какая муха тебя укусила? — сберегая улыбку, спросила шутливо Зеверджет.

— Взгляни на часы! Или думаешь, я вторую смену за тебя здесь отсижу? — Шемснур захлопнула дверцу кабины. — У меня тоже есть личные дела, и мне некогда,

Улыбка растаяла на лице Зеверджет. Но в глазах еще горела прежняя радостная таинственность. Неужели Шемснур не заметит ничего, не спросит: «Что с тобой?» Нет, не собирается спрашивать. Застегнула на ходу пуговицу у ворота кофточки, поправила волосы. Потом стала спускаться по винтовой лестнице, громко стуча рабочими ботинками.

Радость все же вырвалась из сердца Зеверджет.

— Шемснур! — крикнула она подруге. Та уже шла по цеху, не оглядываясь.

— Шемснур! — снова позвала Зеверджет. Та нехотя остановилась и так же нехотя повернула голову.

— Ну?

— Пришла телеграмма.

— Уже телеграмма... Писем недостаточно,— бросила Шемснур. Она подумала о том парне, что уехал в Москву учиться.

— Каких писем? — не поняла Зеверджет. — Он не писал десять лет... Его считали погибшим.

Студент явно не подходил к этому событию, и Шемснур смутилась:

— Откуда я знаю ваши секреты?..

— Глупая,— рассмеялась Зеверджет. — Брат прислал телеграмму.

— Брат?! У тебя есть брат?

Ах да, о брате как-то говорила подружка, и отец Шемснур — Матрабас тоже вспоминал,— они ведь раньше жили близко друг от друга, чуть не каждый день ходили в гости к Чавушам. Впрочем, и сама Шемснур однажды видела в доме подруги красивого военного моряка. Давно это было, до войны. Так, значит, это от него телеграмма.

— Диявер жив, понимаешь, жив! — объясняла Зеверджет. — Приезжает к нам.

Это уже интересно. Военный моряк, да еще красивый, приезжает в их городок...

Шемснур уже не стоит у выхода и не собирается перешагнуть порог — она возвращается к лесенке.

— Что же ты сразу не сказала? — огорченно произносит она.

— Когда набрасываются на человека, он прежде всего хочет защищаться,— не скрыла свою обиду Зеверджет.

— Ой, прости... Так когда возвращается брат?

— Послезавтра...

— Чудесно! Едем встречать,— расцвела Шемснур. — Все вместе. Обида мгновенно угасла в сердце Зеверджет. Она заулыбалась, как прежде.

— Конечно. Он будет рад... Очень рад...

Когда Зеверджет вернулась домой со смены, на веранде уже светлело нарядное платье Шемснур. Сад был полит, дорожка под виноградными лозами подметена и щедро обрызгана. Свет яркой лампочки пробивался сквозь разлапистые листья и делал тропку к террасе живописной.

— Вот и дочь ваша! — весело крикнула Шемснур, вглядываясь в пеструю тень виноградника.

Из-за спины Шемснур показалась Шефика-енге. В руках ее была тарелка, которую она старательно вытирала салфеткой—

— Ай-яй-яй, не торопиться домой,— пожурела дочку енге. — Ужин на столе.

— Прямо из цеха, даже с мастером не успела поговорить,— оправдывалась Зеверджет. Глаза ее тут же заметили наряд Шемснур, и он, конечно, заинтересовал подружку: — Новое платье! Когда сшила?

— Давно. А надела сегодня. Думаю, гостью понравится.

Шефика сразу угадала желание Шемснур, угадала и насторожилась. Опасна была эта настойчивая, своенравная девушка с круглыми птичьими глазами. На таких сразу обращают внимание мужчины, сразу попадают под их чары — ладны собой, молчаливы, будто грусть вселилась в них; изредка вскинут ресницы и глянут так горячо и призывно, что любое, даже самое холодное сердце загорится. А должно ли загораться сердце Дилявера? У него Зейнеб. Кроткая Зейнеб. Пусть будет верен ей, пусть ищет свою добрую подругу. Не отдам Дилявера этой Шемснур, хоть она и подружка дочери, хоть и ласково щебечет у плеча Шефики.

Свою тревогу, злость свою енге, однако, обрушила на дочь, словно она была повинна в желаниях Шемснур.

— И верно, что это вы обе нарядились? — сказала Шефика, косо поглядывая на гостью. — На работу надо одеваться попроще.

— Опять не угодила? — досадливо поморщилась Зеверджет. — Где ты увидела мой наряд?

— А что на тебе? Не наряд, скажешь? — уже распалилась енге.

— Можно бы одеть старую кофточку или даже блузу рабочую. Машинист крана — рабочий человек, а не артистка оперетты. Нехорошо, милая моя!

— Посоветуй уж и ватные брюки, будет полная форма. — Зеверджет поднялась на террасу и с раздражением бросила сумку на стол.

— Поругайте, поругайте ее,— шепнула Шемснур тетушке Шефике. — В цех приходит будто во Дворец культуры... Все обращают внимание.

Зеверджет строго посмотрела на подругу.

— Не подливай масла в огонь, он и так пылает.

— Я правду говорю.

— Коли правду, скажи и о себе. Сама-то как нарядилась.

— Мне можно... Я в гости пришла,— мягко и ласково промурлыкала Шемснур. — У вас ведь праздник! — Она тронула осторожно плечо тетушки Шефики.

До чего льстива эта Шемснур! Хотя и чувствует енге, что неспроста ластится деваха, а отстранить от себя не может. Была бы ершиста, холодна, ни один не коснулся бы ее, а тут сама к себе привлекает.

Все слышал старый Чавуш. Сидел в садике под вишней и внимал голосам, что звучали на террасе. Пустые вроде слова произносили женщины, никчемные — о нарядах. А Чавуш слушал. Думал: зачем обхаживает Шефику эта Шемснур? Зачем одела лучшее платье свое?

И вдруг поднялся с лавочки и заковылял к террасе.

— Да, у нас праздник,— громко сказал он. Так громко и так неожиданно, что женщины напугались. — Великий праздник,— добавил Чавуш. — Наш праздник, мой и Шефики. Даже не Зеверджет. Она ничего еще не сделала для брата, да и помнит ли его...

— Помню, папа,— вспыхнула Зеверджет.

— И я помню! — Шемснур повернулась к Мустафе-ага, приветливо заулыбалась. В душе она, правда, оробела — хмур и холоден был Чавуш, но виду не подала. — Отец тоже помнит. Такой красивый офицер был...

— О, слава ему! — добром засветились глаза Мустафы. — Матрабас должен помнить Дилявера, мальчишкой еще знал... Ну как отец? Что пишет?

Шемснур выскользнула из-за плеча Шефики-енге и оказалась рядом с хозяином дома.

— Отец теперь главный агроном...

— Рад, рад,— закивал головой Чавуш. — Давно пора руководить хозяйством. Кто лучше его знает землю? Есть ли такой человек еще!

— Вам от отца большой привет,— добавила Шемснур, чувствуя, как слова ее ложатся на сердце хозяина дома.

— Спасибо ему. Поглядеть бы на старого сокола. Как летает...

— Папа обещал навестить вас,— вошла в роль Шемснур. — Ждем.

Неужели?! Ну, счастье Чавушу. И сына, и друга увижу. Пусть поторопится. Праздник-то какой. Вина не пожалеем.

Сказал это Чавуш, а сердце отчего-то заныло, и побежали опять тревожные мысли: праздник ли будет? О вине ли надо думать? Конечно, этой Шемснур неведомы заботы старого Мустафы. Ей надо увидеть красавца моряка. И себя показать. Молодостью, лукавством, смазливой мордашкой кого не привлечешь. Поди, в мечтах уже завладела человеком.

А по какому праву? Гнев разом пробудился в Чавуше. Мы с Шефикой выстрадали свое счастье, отдали все, чтобы сын стал человеком, да и сам Дилявер погиб, защищая людей, Родину, отвоевал снова жизнь. А Шемснур играючи берет ее. Берет, ничего не заплатив,— ни слезинки, ни вздоха.

Вот Чавуш ночь не спал, думал — каков его сын.

Возвращается ли достойным отцовских надежд и мук. Истерзался, тревожась, Чавуш. А Шемснур мечтает о счастье, сотворимом другими, и лишь потому, что женщина и молода.

Нет, нет! Дилявер, если он остался Дилявером, достоин настоящей подруги. Она должна принять его не потому, что красавчик, не потому, что моряк и офицер, а потому, что отдал все за людей. И если калека...

Чавуш закрыл глаза, боясь увидеть сына, даже в мыслях,

безрукого и безногого. Или еще страшнее — слепого.

— Он был красивым джигитом,— неожиданно сказал Мустафа. Ему необходимо было отогнать тяжелую мысль, вернуть Диляверу его юность.

— Да,— вздохнула Шефика. — Судьба подарила нам хорошего сына. — Ей тоже представился молодой моряк, взбегающий на крыльцо их старого дома. И так ясно почувствовала енге прикосновение его рук, что замерла от радости. —Мой Дилявер...

Чавуш поднялся на террасу не для того, чтобы вздохнуть вместе с женщинами. Ему надо было раскурить потухшую трубку. Именно это сказал он, отыскивая спички и пряча лицо от пытливого взгляда Шемснур,— скупая слеза сбегала по щеке Чавуша. Долго искал он спички, а когда нашел, то стал молча раскуривать, посапывая и покашливая. Потом так же молча спустился со ступенек в сад и сел под своей вишенкой...

Прошло три дня и три ночи. Мустафа-ага, Шефика и Зеверджет сели в автобус и поехали на станцию встречать Дилявера. Чавуш был мрачен и безмолвен. За эти дни он похудел, осунулся, глаза потухли. Нога стала, кажется, больше нить, сильнее припадал на нее бедный Мустафа.

— Когда дети опаздывают домой,— сказал он, садясь в автобус, — родителям уже не до покоя.

Зеверджет приняла это на свой счет — накануне во дворце был вечер самодеятельности, и она вернулась в полночь. Если бы знала она, что имеет в виду отец! Не малое, а великое тревожило Чавуша.

Дорога на станцию оказалась долгой. Почему-то не хватило бензина, и шофер остановился у колонки заправиться. Потом спустил баллон, и надо было его заменять. Измучился, истерзался Мустафа. Он смотрел в окно — на поля, на бегущие мимо автобуса деревья — и все больше мрачнел.

К станции подъехали с опозданием — поезд еще не отошел от перрона, но пассажиры уже выбрались из вагонов, и состав выстаивал положенные ему по расписанию последние минуты.

Зеверджет бросилась в вагон, тот самый, что значился в телеграмме. Она могла успеть — молода и проворна, а Чавуш с Шефикой едва плелись. Зато глаза их спешили, уже были на ступеньках тамбура, в котором скрылась Зеверджет.

Из соседнего вагона выходит пассажир с детским велосипедом в руках. С трудом опускает его на перрон. Последний пассажир — он задержался, видно, никак не мог управиться со своим багажом. Чавуш не выдерживает, бросается к поезду. В это время в дверях тамбура появляется Зеверджет. Одна Зеверджет, растерянная, смущенная.

Раздается сигнал. Поезд трогается, и Зеверджет на ходу прыгает со ступенек. Без Дилявера. Стоит и смотрит на отца. Потом — на уходящий поезд.

— Где он?! — кричит Чавуш.

Зеверджет пожимает плечами.

— Наверное, в другом вагоне, — торопится с советом Шефика-енге.

Поезд набирает скорость и кондуктор, будто прощаясь с Чавушами, вытягивает вперед руку с желтым флажком.

— Быть может, в телеграмме спутали номер поезда... или день отъезда, — тихо говорит Зеверджет. — Я обошла все купе... Я спрашивала... Звала...

Она обнимает мать и тихо гладит ее плечо, пытается утешить.

— А вдруг Дилявер сошел первым и сидит теперь в зале ожидания? — строит догадки Шефика.

Как не подумали об этом раньше?! Они идут в белый домик, где стоят скамейки для пассажиров. Но и тут их ждет разочарование — скамейки пусты. Один человек в зале — все тот же мужчина с детским велосипедом.

— А Дилявер? — дрожащими губами произносит Шефика-енге.

— Где же Дилявер?

Дилявер мог поехать прямо домой. В конце концов каждый поступил бы так же — не встретили, значит, надо спешить к своим. Возможно, даже не знают о его приезде: телеграмма могла затеряться или опоздать. Ну да, Дилявер уже дома, а глупые родители ищут его на станции.

Автобус еще не ушел. Только бы успеть. Последние пассажиры втискиваются в набитую до отказа машину.

Домой! Скорее домой. Шефика и Зеверджет безумолку стрекочут, мысленно они уже дома, рядом с Дилявером. А Чавуш молчит. Его лицо по-прежнему сумрачно...

Десять километров, отделявших станцию от рабочего городка, показались еще длиннее. Автобус не заправлялся бензином, шофер не менял баллоны, но ехали ужасно медленно. Зеверджет все высовывалась в окно, надеясь увидеть машину с Дилявером или одного Дилявера, шагающего по дороге, но никого не было.

Не оказалось Дилявера и дома. Шефика опустила на ступеньки крыльца и прислонила голову к стене.

— Сынок... Не приехал мой ненаглядный. Зеница ока моего,— шептала она в изнеможении. Потом вошла в дом и обессилено легла на сет.

В то время, как Шефика-енге, уткнувшись в подушку, предавалась слезам, на террасу кто-то поднялся. Поднялся неслышно. Во всяком случае, она не уловила ни одного звука. И только когда раздался голос: «Можно войти?» — тетюшка Шефика подняла голову.

На пороге стоял русоголовый мальчишка лет четырнадцати и смущенно смотрел на плачущую женщину. Его коричневое от загара лицо и большие улыбчивые глаза напомнили Шефике что-то родное, близкое.

— Можно войти?— еще раз по-русски спросил мальчик.

— Заходи, сынок,— ответила енге по-татарски.

Ей и в голову не пришло, что мальчик может не понять ее. Здесь все говорили по-татарски. А он не понял. Продолжал смотреть на мокрое от слез лицо женщины и растерянно хлопал глазами.

— Мы приехали из Потти,— несмело проговорил он и оглянулся. Там, за дверью, на террасе, стоял человек в белой рубаше и подавал мальчику какие-то знаки.

— Заходи!.. Заходи же,— позвал его парнишка. Енге показалось,

что на террасе Дилявер. Нет, она не узнала, а просто предположила и стремительно, насколько способно было ее больное тело, бросилась к двери. Но там уже никого не оказалось. Полуденное солнце беззастенчиво хозяйничало на террасе, усыпав ее золотыми бликами. Шефика спустилась со ступенек, оглядела сад — и там пусто.

— Кто это был? — спросила она мальчика, вернувшись в комнату. — Кому ты махал?

— Дядя Сережа. Мы приехали вместе.

— Дядя Сережа. А кто это такой? — удивилась Шефика. Смущение мальчика сменилось растерянностью.

— Может, я не туда попал... Мустафа Чавуш здесь живет? Шефика кивнула.

— Ну, здесь.

— А вы не бабушка Шефика?

— Она самая-

Мальчик шагнул к ней и, густо покраснев не то от радости, не то от смущения, проговорил, запинаясь:

— Здравствуйте, бабушка!

Необычно как-то было произнесено это слово «бабушка». Кольнуло оно Шефику, заставило сердце отозваться неясной, но радостной болью. А когда паренек назвал себя, боль эта разом охватила все существо еengi. Он сказал:

— Я Дилявер... Дилявер Чавуш.

В глазах у Шефики потемнело. Она обмякла и беззвучно упала на сет.

Мальчик нагнулся, стал торопливо объяснять что-то, она не слышала ничего. И только холодная вода, коснувшаяся ее губ, смогла вернуть силы Шефике. Открыв глаза, она увидела над собой встревоженное лицо Шемснур.

— Что с вами, тетя? — говорила девушка, смачивая лоб и виски еengi студеной влагой. — Как вы напугали нас!

Напугали! Она сама испугалась. Едва пришла в себя, как заторопилась с вопросом:

— Доченька... Посмотри на этого мальчика! Ну, видишь его?

— Да, тетушка.

— Он назвал себя Дилявером... Я ничего не понимаю... Ничего,
— снова запричитала Шефика.

Теперь уже Шемснур заинтересовалась пареньком. Уставилась на него вопрошающим взглядом.

— Ты сын Дилявера Чавуша? — уточнила Шемснур.

— Да.

— Дилявер — сын Дилявера? Так, что ли?

Мальчик радостно закивал головой — наконец-то, кажется, разобрались в его биографии.

— Шемснур, доченька, ты поняла что-нибудь? — спросила со стоном Шефика-енге.

— Тут и понимать нечего. Это ваш внук, — спокойно ответила Шемснур. — Сын вашего сына, и звать его, как и отца, — Дилявер.

— Внук! Вай анам! — всплеснула руками Шефика. Опираясь о стену, она поднялась с сета и, тяжело неся свое истомленное тело, поплелась к мальчику. — Сын моего сына... Дай поглядеть в твои глаза, ягненочек... — Руки обвили шею Дилявера, приблизили детское личико к Шефике.

— Я не один, — стиснутый сухими, но горячими старческими ладонями, задыхаясь от радости и счастья, произнес Дилявер-младший. — Я с дядей Сережей приехал. Думали, нас встретят на станции, а никого не увидели.

— Опять дядя Сережа, — путаясь в сложном лабиринте событий, вздохнула Шефика-енге. — Где же твой дядя Сережа? Где этот добрый человек?

Шемснур выскочила в сад, а потом за калитку. Пока шел розыск таинственного дяди Сережи, Шефика продолжала обнимать и целовать внука.

— Ягненочек мой, ненаглядный, — приговаривала она, любуясь мальчонкой. — Весь в отца... И как это сразу не заметила я?..

Шемснур вернулась огорченная:

— Никого не видно...

— Боже мой, с пути человек — и не отдохнул... Воды не выпил нашей... Ай-ай! — Енге завздыхала, заохала. — И ты, бедняжка, устал... Разденься, умойся. Сейчас я дам тебе свежее полотенце.

— Она поплыла в гостиную и через минуту вернулась, держа в руках белоснежную ткань с синим узором по кромке. — Ополоснись под краном, мальчик мой...

Сияющая, радостная, суежилась она вокруг мальчишки, не зная, чем одарить его, чем побаловать. Дилявер-младший стягивал с себя пыльную рубашу, а Шефика извлекала из буфета персики, яблоки и добытые с таким трудом маслины, уставляла широкий семейный стол тарелками и вазами, наполненными доверху дарами лета.

Мальчик вышел в сад, чтобы под струями крана освежиться. За этим нехитрым, но приятным занятием после душного вагона и жаркой дороги застали паренька Чавуш и Зеверджет.

Они не успели ни удивиться, ни поразиться появлению в их доме чужого мальчика. Вездесущая Шемснур встретила хозяев у калитки и сказала с таинственностью:

— Это Дилявер... но только младший.

— Стало быть, внук? — легко уяснил Чавуш и, не щадя свою больную ногу, изрядно натруженную за день, побежал к водопроводному крану. Сердце старого Мустафы взволнованно билось. Последние часы оно так много страдало, что любая новость, самая необыкновенная, самая удивительная, принималась как неизбежное добавление к уже пережитому. Внук — значит, внук. Вот он — живой, загорелый, забавно фыркает под обильной струёй воды! И зовут его Дилявер.

Чавуш хватает в охапку мокрого мальчишку, пытается подбросить, как когда-то пятилетнего Дилявера, но не осиливает и только целует горячо. Тревоги, опасения, сомнения, терзающие душу сомнения куда-то исчезли. Вместо них — радость узнавания. Перед ним незнакомое, но родное существо.

— Дилявер!.. — дрожащими губами произнес Чавуш. — Так это ты, значит?

И тут рядом прозвучал грустный шепот Шефики — она уже накрыла стол и пришла снова полюбоваться внуком:

— А самого сына-то нет.

Грусть не принял Чавуш. Одну лишь суть уловил он — в доме

нет Дилявера-старшего.

— Где задержался папа? — по-деловому спросил он мальчика.

Шефика накинула на плечи внука полотенце, и тот принялся старательно вытирать шею и лицо. Вытирал и молчал, будто не слышал вопроса. Да и Зеверджет помогла. Наступил ее черед обнимать парнишку, целовать и восторгаться.

— Племянник... У меня теперь племянник! — смеялась она. — Слышишь, Шемснур? И какой большой...

— Где же папа? — тревожно повторил Чавуш.

— Папа?! — Мальчик обвел глазами своих новых родственников. Во взгляде его было недоумение: разве они ничего не знают об отце?

Зеверджет почувствовала растерянность племянника и поспешила ему на выручку. Видно, трудно было мальчишке рассказывать — горька была правда.

— Почему мы тут стоим? — заторопила она всех. — Мокрым человека держим. Ему надо одеться. — И, взяв Дилявера-младшего за руку, повела в дом.

Закрутилась обычная канитель: женщины принялись искать пареньку одежду и, конечно, не могли ничего найти — не оказалось для подростка ни подходящей рубахи, ни подходящих штанов.

Шефика сокрушалась, охала.

— У меня все есть,— сказал, смеясь, Дилявер-младший, надо только открыть чемодан. — Он пошарил в кармашках серой курточки, в которой приехал, нащупал приколотый к ткани ключик и стал им орудовать.

Могли ли допустить женщины такое старание мальчика? Они бросились помогать ему — и первая Зеверджет. Через минуту все содержимое невеликого чемодана Дилявера было изъято и разложено на стульях. Нашлись чистая майка, трусы, коломенковые штаны, рубаха. Тапочек, правда, не оказалось, но тетушка Шефика легко вышла из положения. Разгребла кучу обуви, украшавшую вход на террасу, и раздобыла старые чуваки Зеверджет — стоптанные, но еще крепкие, главное, оказавшиеся впору мальчику.

В то время как женщины одевали и обували паренька, Чавуш сидел на сете и внимательно смотрел на внука. Вот он, сын Дилявера. Похож? Не очень. В глазах, верно, знакомая искорка, и сложен ладно, как все Чавуши, но есть и чужое. Улыбка Зейнеб — мягкая, ласковая, светлая. Волосы тоже ее. И брови, и уши... Да в том ли дело, на кого похож внук? Зовут его Дилявер. Сбили с толку этим именем Чавуша. Думал, едет Дилявер, сын его. А приехал другой Дилявер.

— Эй, сынок! — окликнул мальчика Чавуш.

Повернул голову паренек — красивую, гордо поставленную. И смотрел на деда светлыми, чистыми глазами.

— Что, дедушка?

«Зачем окликнул внука?» — подумал Чавуш и смутился. Ведь никакой надобности не было в этом. Хотя, нет — хотел увидеть глаза мальчика. И в глазах — сына.

— Э, да наш Дилявер, оказывается, старательный мальчик, — воскликнула Зеверджет, держа в руках толстую тетрадь в коленкоровом переплете. Она нашла ее, когда разбирала немудреный гардероб племянника. — Он и летом решил заниматься. Или у тебя переэкзаменовка на осень?

Парнишка залился краской.

— Это не моя тетрадь.

— Чья же? — продолжала любопытствовать Зеверджет.

— Мамина. Я взял без спросу...

— Вай!.. — протянула огорченно Шефика. — Хорошо ли обманывать маму? Она кинется искать... Мальчик, опустив голову, молчал.

— У нас в роду никто не совершал подобных поступков, — грустно заключила тетушка Шефика. — Как же ты мог взять чужую тетрадь?

Со слезами обиды в голосе внук запротестовал:

— Не чужая... там про папу все сказано... и про меня. Разве это чужое?

— Про Дилявера?! — Чавуш, сам не зная как, тяжело поднялся с сета и шагнул к Зеверджет, которая держала в руке зеленую тетрадь. — Что там сказано про Дилявера?

— Не знаю,— ответила Зеверджет и еще крепче стиснула пальцами тетрадь. — Записи Зейнеб... Дневник, кажется... Его нельзя читать.

— Почему? — поразился Чавуш.

— Тайна человека... Все равно что личное письмо...

— Кому письмо? — не уразумел Мустафа.

— Самому себе... исповедь души...

— Какие премудрости! — удивился Чавуш. Он никогда не вел дневников и не задумывался над их значением. — Я хочу знать о сыне. Кто же мне расскажет, кроме этой тетради? Читай!

Глаза старого Мустафы обратились к Шефике за поддержкой. Она должна понять его, пособить в этой странной борьбе за истину. И Шефика поддержала мужа. Робко попросила Зеверджет:

— Если это не большой грех, то совершив его, дочь моя...

«...12 ноября 1941 г. Семнадцать дней, как я прикована к постели. Сегодня впервые я, кажется, почувствовала аппетит. В палате нас три женщины. Мои соседки, военфельдшерицы, спят. Обе раненные.

Как я попала сюда, в этот госпиталь? Я же не медицинский работник и даже не военнослужащая. Попытаюсь как смогу восстановить события последних недель. В Феодосии нас принял на борт корабль, идущий к кавказским берегам. Членов семей морских офицеров было приказано эвакуировать в тыл. Торопились. Немцы бомбили и обстреливали город из дальнобойных орудий.

Всю ночь шли спокойно, а утром стал виден Новороссийск. Мы думали, что судно причалит к берегу, но капитан имел другой приказ и прошел мимо. Море, насколько хватал глаз, покоилось в тишине. Казалось, войны нет, и все, что мы пережили в Феодосии, было только сном. Но вот завывла сирена воздушной тревоги. Первая бомба взмыла фонтан воды рядом с нашим бортом. Трудно описать, а еще труднее пережить все это. Бомбы буквально сыпались на судно.

Палуба на носу уже пылала. Капитан бросил часть матросов на борьбу с огнем, остальные начали спускать шлюпки. В первую

очередь спасали детей и женщин с малышами на руках. Но едва лодки касались воды, как фашистские стервятники направляли на них огонь пулеметов. «Рассеивайтесь!» — командовал капитан рулевым. Шлюпки устремились в разные стороны, чтобы не дать самолетам возможность иметь под собой компактную цель. Однако бомбы сыпались в таком обилии, что море вокруг кипело от взрывов и прорваться сквозь этот огненный вал не могли даже самые отважные моряки. На наших глазах тонули дети. Матери кидались за ними в воду и тоже гибли.

Я была на палубе. Верила — матросы затушат огонь. Сесть в лодку не было сил. Я не могла протискаться к борту, откуда шла посадка. Да и спасение ли это? Шлюпки переворачивались при взрывах. Последнее, что помню,— трап. По нему поднимаюсь на мачту, вверх. Судно тонет. Вместе со мной поднимается еще несколько человек. Те, кому удалось спастись...

15 ноября 1941 г. Утром в палату зашел капитан второго ранга Кайтазанов. Присел на край койки и рассказал о том, что произошло у Новороссийска. Оказывается, спаслось всего шесть человек. Меня сняли с обломка мачты без сознания. Так крепко вцепилась в трап, что пальцы с трудом разжали.

— Теперь все в прошлом,— улыбнулся грустно капитан. — Вы живы, и надо думать о завтрашнем дне. У вас будет ребенок.

Про мужа ничего не сказал. Не знает, где он сейчас. Обещал выяснить и передать с кем-нибудь. Я поблагодарила. Что еще можно выведать у человека в такое время. Он сам мало знает; фронт все движется, связь нарушается постоянно.

8 декабря 1941 г. Выписалась из госпиталя. Сняла маленькую комнату на окраине города. Живу как позволяют средства. Все живут так. До удобств ли? Люди советуют уехать в Среднюю Азию, далеко в тыл. Не решаюсь. Хочется узнать о Диялвере и, может быть, увидеть его. Говорят, какое-то подразделение подводников перебирается сюда. Дождусь.

11 декабря 1941 г. Беседовала с начальником госпиталя, где меня лечили. Нельзя просто жить, просто ждать Дклявера, надо

что-то делать для фронта. Для мужа. Ему очень тяжело, я знаю. Подводникам всегда тяжелее всех — так считают люди. Ведь могу же я работать, хотя бы медсестрой. Начальник госпиталя обещал помочь.

15 декабря 1941 г. Завтра выхожу на работу. Рада как девчонка. Страшно хочется что-то делать. Начальник госпиталя назначил мне паек и выделил комнату в общежитии. Только очень внимательно осмотрел меня. Другие тоже приглядываются. Я кажусь странной — беременность уже не скрыть, я всем говорю, что здорова и могу по-настоящему работать. Обманываю, но как иначе, ведь женщину, ожидающую ребенка, не оставят здесь, направят в глубокий тыл, да и на работу не возьмут. А как же Диявер? Я должна его увидеть. Сердце полно каких-то предчувствий. Волнуюсь. Жду.

26 декабря 1941 г. В полдень меня позвали к телефону. Это Кайтазанов. Он сообщил под большим секретом, что ночью прибудет экипаж двух подводных лодок. И все. О Диявере ни слова. Но я догадалась, я была уверена — он в числе экипажа. Прождала всю ночь. Уже светало, когда я, измученная, уснула. И в это самое время кто-то тихо постучал в дверь. Я бросилась открывать и увидела Диявера.

Как он смотрел на меня! Что он говорил! Я плакала от счастья. И в страшные дни войны у человека бывает минута счастья.

Диявер сказал, что три дня пробудет на берегу и не отойдет от меня ни на секунду.

— А служба? Моя служба? — спросила я. — На меня наложат взыскание.

— Ну и пусть,— настаивал он. — Я хочу быть с тобой...

Как трудно решить такой, казалось бы, простой вопрос. Ждала мужа, он приехал, а находиться с ним не могу. Война, долг требует быть в госпитале. Я ушла бы, он знал это. Но прибежала из госпиталя медсестра и передала распоряжение начальника. Мне представляли отпуск на три дня. Ровно на столько, сколько оставался Диявер на берегу. Военврач узнал о приезде мужа и освободил меня. Спасибо! Люди умели в такое

время помогать друг другу, понимать их чувства. Второй встречи с мужем могло не быть...

12 января 1942 г. Дилявер все повторял: «Мы не прощаемся... Не прощаемся... Не говори это слово...» Зачем он повторял? Во мне зародилось тревожное предчувствие...

Минуло тринадцать дней, как уехал Дилявер. Невыносимых тринадцать дней. Лодки не могут плавать бесконечно, они должны возвращаться на базу, а они не вернулись.

Вечером ко мне зашел Кайтазанов с женой и друзьями Делявера. Посидели, попили чаю с кизилевым вареньем. Я старалась не подавать виду, что волнуясь. Но сердце разрывалось от боли. Ждала чего-то страшного. Слова, что произносили гости, были ненужными. Я понимала — они пришли не ради этого чая. И я не ошиблась. Молчавший почти весь вечер Кайтазанов вдруг заговорил о превратностях судьбы:

— Зейнеб... Не все в жизни получается так, как мы хотим, как мечтаем. Здесь, в этом чудесном уголке земли, тихо. Даже не верится, что где-то идет война, что умирают люди. А они умирают, защищая Родину, оберегая наш покой...

Он мог сказать все сразу. Я вынесла бы самое страшное, а Кайтазанов не торопился, боясь, видно, за меня. За моего будущего ребенка.

— Что с Дилявером? Говорите правду! Кайтазанов опустил глаза:

— Подводная лодка не вернулась с задания... Думала, что вынесу страшное. Готовилась к нему — и не смогла устоять. Сердце сжалось, и я упала на чьи-то руки...

15 января 1942 г. Снова госпиталь. Но я не медсестра в нем, я — больная. Вернее, выздоравливающая. Два дня назад родила сына, преждевременно. Он очень слабый. Но жив и смотрит на меня своими не понимающими пока ничего глазенками. Сын, мой мальчик! Теперь я не одна. А могла остаться одинокой. Дилявер так и не вернулся с задания... Боже, как тяжело!

4 февраля 1942 г. Сына назвала Дилявером — именем

любимого человека. Он будет жить — Дилявер. Всегда жить, рядом со мной. Людям кажется, что можно смириться с утратой, забыть даже близкого человека. Как они ошибаются! Смириться нельзя. Я буду вечно чувствовать пустоту, вечно думать о нем. И ждать. Да, я буду ждать, сколько бы ни прошло времени и какие бы печальные известия ни приносила мне судьба...»

Жизнь удивляет человека своим непостоянством, глядит на него то сумрачно, то ласково. Реже — ласково. А Чавушу хочется, чтобы радость не покидала его дом. И он бережет ее. Целыми днями занят Мустафа своим внуком. То разговаривает с ним, то просто смотрит на мальчишку, когда тот читает или возится в саду. На службе Чавуш думает о нем, словно переживает заново рождение внука. Не было много лет никакого внука, и вот появился на свет.

Первый день Чавуш присматривался к Диляверу, решал, в кого удался мальчишка, сейчас старается понять душу его. Конечно, еще мал парнишка для такого серьезного осмысливания, но ведь человек, по мнению старого Мустафы, с первой минуты своей жизни для чего-то предназначен. К четырнадцати годам определяется его место на земле. Если оно еще не обозначено, то Чавушу необходимо сделать это самому.

Нет, не о месте под солнцем идет речь, не о личном благе. Кем будет Дилявер-младший? Какое имя дадут ему люди? Мать назвала его Дилявером, назвала из-за любви к отцу мальчика: добрая, честная, верная подруга. А люди? Вот о чем думает Чавуш. Много думает...

Зеверджет за три недели, что мальчик здесь, показала ему все — и городок, и его окрестности, и поля, и сады, и плотину, возведенную на реке. С соседом Дилявер ходил на Сырдарью рыбачить; это, на взгляд деда, скучное занятие понравилось внуку. Значит, спокоен и вдумчив, определил Чавуш, любит тишину. А каким был отец его? Тот тоже пропадал у воды, но не рыбачил, а плавал, строил корабли, приспособливал парус к лодке.

— Что тебе далась наша река? — спросил как-то внука дед. — Или по морю скучаешь?

— Да,— душевно ответил мальчик. — Волны как в Потти, только маленькие.

Вот оно что. Видно, отцовское в нем есть. Только не простая ли тут тоска по знакомому и привычному? Дилявер-старший не любовался волнами, а боролся с ними, его тянуло на морской простор, в далекие края;

— На корабль хочется? — спросил Чавуш. Мальчик помолчал; в голове его, должно быть, роились какие-то желания, но не совсем ясные, и ответить определенно он не мог.

— Не знаю...

— Так, так,— протянул Чавуш. Что ж, не все должны быть моряками, тем более подводниками. Но суть не в том, какое ремесло манит человека, а чем манит. В любом деле есть душа. Она-то и зовет: кого — к тихой красоте, кого — к яркой, захватывающей.

Неожиданно внук сказал:

— Если бы здесь было море...

Значит, все-таки море!

Чего таить секрет, хотелось Мустафе видеть во внуке сына. Жаль, что мальчик не знал отца, не запечатлел его образ. Но уж если оборвалась живая нить, Чавуш попытается ее восстановить. Только бы не помешали ему, не отняли мальчишку, не отвлекли пустыми заботами.

Отвлекают. Сидел Чавуш с внуком в комнате, рассказывал о солдате, с которым прошел дорогой войны,— о Степане Казакове, добром и смелом человеке,— прервали. Шефика выглянула из двери и шепотком сообщила совершенно нелепую вещь:

— К нам идет Абдул Меин!

Девять лет не заглядывал в дом Чавуша этот непонятный человек, и Мустафа тоже обходил калитку Меина. Тропка, по которой ступают ноги друзей, как говорится, заросла. И вот тебе на.

— Что ему надо? — удивился Чавуш.

Этот вопрос он мог бы не задавать: Шефика уже скрылась в дверях, а если бы и не скрылась, то все равно не ответила бы мужу. Для нее, как и для хозяина дома, появление Абдул Меина не объяснялось никакими причинами.

Не успел Мустафа-ага собраться с мыслями, на террасе уже закрипели неизменные, щеголеватые сапоги гостя. И в следующую минуту в дверном проеме появилось круглое лицо с широкими усами.

— Гостей незваных принимаете, Мустафа-ага? — громко, хотя и не совсем уверенно, пробасил Меин.

— Лишь бы гость пожаловал, — ответил Чавуш тоже не совсем твердо. — Место почетное всегда найдется.

Долг гостеприимства требует от хозяина быть приветливым, с чем бы ни вошел в дом человек. Поэтому Чавуш и Меин протянули друг другу руки, пожали их крепко, улыбнулись. Не очень радостно, правда, мешала настороженность, откровенно светившаяся в глазах мужчин. Во взгляде Чавуша был еще вопрос: «Зачем ты пожаловал, старый черт? Так запросто ведь не заглянешь». Однако настороженность и недоумение не помешали хозяину поинтересоваться здоровьем гостя, его близких и дальних родственников. То же самое сделал и Абдул Меин. Потом они обменялись мнением насчет погоды: жара стоит ужасная и некуда скрыться от нее. На все эти обязательные, но не нужные ни гостю, ни хозяину церемонии ушли добрые четверть часа. Наконец Абдул Меин выдохся и стал искать дополнительный объект для проявления внимания и интереса. И тут он увидел Делявера.

Гость немедленно протянул к нему руку и погладил мальчика по голове.

— Ну как, останешься жить у дедушки? — спросил он ласково. То, что Меин так свободно уточнял планы Делявера, убедило хозяина в полной осведомленности гостя относительно семейных дел Чавушей. И это не все. Старый проныра, оказывается, знал, когда и каким поездом приехал мальчик, где он проводит время.

— Оставайся! — настаивал Меин, будто не к Чавушу, а в свой

собственный дом приглашал паренька.

— Не знаю,— ответил смущенный Делявер. Он стоял у стены и смотрел на фотографию деда. Тот был снят около пушки, которой командовал, и на погонах его красовались три звездочки старшего лейтенанта. — Хочется к маме...

— Так и маму надо сюда забрать,— продолжал решать семейные проблемы Чавушей гость.

Делявер понял, что разговор деду не нравится, и вышел в сад.

Хмурый Чавуш пригласил Меина за стол: надо было как-то занять гостя, сам сел напротив.

— Ну, с чем пожаловали? — проговорил хозяин.

— Да уж и не знаю, как объяснить,— поглядывая из-под бровей на Чавуша, мялся Меин. — Не ко времени, видно, пришел...

Он прервался, ожидая, что хозяин подбодрит его, мол, о чем разговор, всегда рады, но Мустафа никак не откликнулся на затравку Меина, молча глядел на скатерть и собирал с нее несуществующие крошки. Гостю пришлось продолжать начатое:

— Вы переживаете и радость и горе сразу. Радость оттого, что появился внук, и горе оттого, что сын потерян навсегда. Это очень сложно, понимаю... И я пришел все-таки... Сам... Первый... Должно быть, не легко дались эти слова Меину. С трудом выговорил их, а уж заключительную фразу просто вытолкнул из себя:

— Я закрыл глаза на законы шариата... Это надо понять, Мустафа-ага.

Что делать с таким упрямым человеком? Забыл, видно, прошлое? Нет, не забыл. Помнит и подчеркивает: «закрыл глаза на законы шариата». Так что же нужно Абдул Меину?

— Мы не должны препятствовать счастью наших детей...

Вот в чем дело! Сам он остался прежним, а сына решил наградить счастьем за счет Чавуша.

— Почему только их счастьем? — сделал вид, будто не понял гостя, Чавуш. — Разве другие не имеют на это право?..

— Имеют, конечно,— заторопился с объяснением Меин. — Но Зеверджет и Сервер росли вместе, привыкли друг к другу... с

детства.

— С детства? — переспросил Мустафа-ага. Прозвучало это так откровенно и так жестоко, что гость сразу понял чувства, охватившие Мустафу-ага: все осталось прежним, и мир между двумя семьями невозможен. Отступить, однако, было поздно, да и не для того пришел сюда Меин, чтобы вернуться с пустыми руками.

— Да, с детства... — повторил он и этим подчеркнул свое намерение добиться цели, хотя на пути к ней и стояло прошлое. Он слез со стула, на котором ему неудобно было сидеть, и опустился на ковер, поджав под себя по-восточному ноги, — вот, дескать, каков я, не ухожу, а, напротив, готовлюсь к долгому и серьезному разговору.

Шефика все слышала за дверью, не выдержала, влетела в комнату с чашками кофе — надо ведь как-то оправдать свое появление — и строптиво выпалила:

— Мне кажется, о детстве говорить не следует...

— О, апакай, помолчи! — прервал жену Чавуш. — Имей терпение, это дело тебя не обойдет...

Шефика поставила фильджаны на стол и вышла, хотя ей очень хотелось присутствовать при таком важном разговоре и, конечно, высказать все, что накопилось в сердце, этому несносному Меину.

— Вы знаете, — вернулся к прерванному разговору Чавуш, — почему я девять лет назад ушел из вашего дома?

— Как вам сказать? — неопределенно протянул Меин. — Были, видно, причины...

— Из-за этих самых детей, — уточнил хозяин. Девять лет назад, когда Чавуш с семьей переехал из совхоза в городок и поступил на завод, с квартирами было трудно. Каждый день приходилось ходить по дворам, выискивая подходящую комнату. Во время одной из таких довольно неприятных прогулок он встретил в чайхане Меина. Разговорились: оказалось, что они оба работают на одном заводе. Меин — в транспортном отделе, а Чавуш — в заводууправлении. «У меня неплохая квартира, — сказал новый знакомый, — могу уступить комнату.

Переезжайте хоть завтра».

Чавуш не стал ждать вторичного приглашения и на другой же день перебрался к Меину. И квартира, и сад, окружавший дом, были в самом деле хороши. Окна комнаты, которую занял Чавуш, выходили прямо в виноградник, дверь открывалась на общую светлую веранду. На душе у Чавуша потеплело, он был несказанно рад такому удачному решению трудной проблемы.

Жили вместе и все делили поровну — Меины запросто входили в комнату Чавушей, а Чавуши, в свою очередь, охотно пользовались гостеприимством хозяев. Прошли месяцы, минул год, ничто, кажется, не омрачало этой мирной и счастливой картины. Но вот однажды вечером Шефика-енге, сидя у окна со старой рубахой Мустафы, которая нуждалась в починке, заметила во дворе малышей: Сервер поливал перед домом цветы, а Зеверджет таскала из арыка воду. Ничего особенного в этой детской затее не было, каждый вечер полагалось кому-то заниматься цветником. Но случилась, как назло, беда: девочка поскользнулась и попала ногой в арык. Пустое дело, с кем не бывает. Вытянула ногу из воды Зеверджет, хотела отряхнуть туфельку, а она сорвалась и... обратно в арык. Тоже пустое — достань, оботри, поставь сушить на бережок. Прежде чем выловить туфлю, девочка протянула Серверу ведро с водой, надо было освободить руки. А мальчишка не принял, оттолкнул от себя, да так, что Зеверджет и ведро выронила, и себя облила. — Ты с ума сошел? — со слезами обиды произнесла девочка.

— Не я, а ты, — зло ответил Сервер. — Что ты наделала?

Большие глаза Зеверджет раскрылись от удивления. Она не поняла, о чем спрашивает ее Сервер. Только когда увидела свои мокрые ноги и забрызганное грязью платье, догадалась — за это могут наказать. И стала оправдываться:

— Облил всю... Новое платье...

— «Платье»! — сморщил брезгливо лицо Сервер. — Не платье, а туфли. Чьи на тебе туфли?

— Мои.

— Не твои, а мои.

Сервер присел и торопливо стащил с ноги девочки вторую

туфлю.

— Не смей! — попыталась воспротивиться Зеверджет. — Я пожалуюсь тете Эдае.

— Ну и жалуйся... Прибиралы...

Вначале девочка смотрела с недоумением на мальчишку, потом с ужасом, а когда до нее дошел смысл его упреков — расплакалась. Да так горько, так безутешно, что Сервер напугался и поспешил домой.

— Вон твои туфли! — захлебываясь слезами, крикнула ему вслед девочка. — На террасе лежат.

Сервер и сам заметил пару туфель у входа, но признаться в своей ошибке не хотел и шмыгнул в дверь.

Дети есть дети, и кое-что надо прощать им. Шефика-енге так и решила: забудем этот неприятный случай: хозяева дома, наверное, тоже махнут рукой, а дети помирятся. Только вот слова куда деть обидные? Как-никак назвал мальчишка Чавушей прибиралами, то есть живущими на готовеньком. Такое не выбросишь из головы, а уж из сердца — и подавно.

Рассказала все Мустафе, когда он вернулся с работы.

— Что тут такого? — пожал плечами Чавуш. — Чему возмущаться — дети!

Она согласилась:

— Я тоже так думаю...

Но поздно ночью, лежа в постели, Чавуш вдруг вспомнил разговор и спросил:

— Эдае знает об этом?

— Знает, — ответила енге. — Все знает, видела в окно, как и я, но даже словом не обмолвилась.

Теперь пустая история принимала серьезный оборот. Если родители не останавливают ребенка, значит, разделяют его убеждения и, возможно, даже потворствуют ему в оскорбительных выходках. А вдруг мальчик повторил слова самой Эдае или того же Абдул Меина?

Недоспал ночь Чавуш. Рано утром вышел во двор, чтобы встретить хозяина и объясниться. С час проторчал около сарая, калитки, водопровода — никто не выглянул из дома. Даже

тетушка Эдае и та притаилась в комнатах, словно ее вообще не было или она вдруг занемогла. Чавуш покинул двор с тяжелым чувством; нарочитая тишина укрепила в нем мысль о заговоре хозяев. Видно, мальчишка выполнял чужую волю, и теперь они ждут результатов.

В обеденный перерыв Чавуш приехал на грузовой машине, упаковал свои немудреные пожитки, посадил в кузов жену и дочь и укатил. Была смутная надежда у Мустафы, что за те два часа, покуда он собирался и бегал через двор с вещами, кто-то появится на крыльце и остановит его: «Эй, сосед, можно ли покидать дом, не поговорив с хозяином?» Но никто не вышел, никто не остановил Чавуша.

С тех пор дом Абдул Меина стал чужим для Мустафы, он обходил его стороной, не замечал хозяина. Если уж приходилось сталкиваться, как говорят, лицом к лицу, то Чавуш сухо приветствовал Меина, и тот отвечал тем же. Заговаривать не пытались. Какие уж тут разговоры, когда у каждого на сердце обида? И так девять лет...

— Да, из-за них, детей наших, все,— повторил Абдул Меин. — Но и вы были не правы, Мустафа-ага.

— Я?! — Чавуш даже поднялся от изумления. — Тогда кто же прав? Не вы ли, уважаемый?

— Во всяком случае, я не считаю себя виновным,— спокойно, даже слишком спокойно ответил гость.

Наглость Абдул Меина переходила всякие границы.

— Агнец невинный! — с издевкой воскликнул Чавуш. — Стоит вас послушать, так поверишь, что козленок съел волка.

— Всякое случается,— с серьезным видом произнес Абдул Меин.

Нет, это уж не наглость, это издевательство над семьей Чавуша. Подумать только, он подвергает сомнению честность хозяина дома.

— Не случается! — отверг навет Чавуш. — Козленок всегда остается козленком, а волк — волком... Нас оскорбили...

— Э-э, полноте,— отмахнулся Меин. — Дети чего не скажут! Стоило ли так поспешно покидать дом, вы человек

рассудительный и могли бы объяснить свою обиду.

— Кому объяснить?! — развел руками Мустафа. — Ни одна живая душа не показалась во дворе.

— Я двое суток дежурил на станции... Произошла авария с нашими грузами, — без тени смущения сказал гость. — А когда вернулся, вас уже не было. Эдак тоже была очень огорчена... С трудом Чавуш подавил в себе желание обругать Меина, но кольнул его как мог сильнее:

— Огорчена? Я что-то этого не заметил. Да и трудно заметить то, чего нет или что старательно прячут за дверью.

— Вы же знаете, ей часто нездоровится. А мальчишку я наказал по заслугам. Запомнил навсегда.

— Да, настолько хорошо, что спустя девять лет послал отца в мой дом... Дом Зеверджет!

— Именно! — с доброй улыбкой подтвердил Меин. — Он любит ее.

Чавуш едва не поперхнулся от удивления.

— Что в этом такого? — изобразил искреннее недоумение гость. — Они вместе росли, вместе играли... Под одной крышей... Пусть она станет для них родной навсегда...

— Это невозможно!

Проклятая крыша, принесящая Чавушам столько унижения, столько горечи, должна стать прибежищем их чаду? Мыслимо ли это? Да как посмел несчастный мальчишка думать о чудесной Зеверджет?

— Они любят друг друга, — уточнил Меин.

— Погодите! — схватился за голову Чавуш. — Как то есть любят друг друга? Неужели Зеверджет тоже...

— Ну конечно, — заулыбался довольный Абдул Меин. — И теперь, когда Сервер вернулся...

— Откуда вернулся? Разве он уезжал? — растерялся Чавуш.

— Он учился в Москве...

— Студент?!

— Да, но теперь уже закончил.

В памяти промелькнули слова Шефики — Зеверджет переписывается с каким-то студентом. Так, значит, тот студент

и есть Сервер. Боже мой, а Чавуш не поверил. Старый дурак! Так тебе и надо, не будешь зарываться в своих бумагах, не будешь воображать, что твоя дочь — избранница аллаха!

— Что ж,— упавшим голосом произнес Чавуш. — Если и она...

— Вот именно,— повторил свою излюбленную фразу Меин.

Мустафа встал, хотя ему лучше бы сидеть сейчас — болела ужасно нога и сердце сжималось от обиды,— встал и, подойдя к двери, позвал Шефику:

— Апакай, помоги нам...

Не менее расстроенная, чем муж, появилась в комнате тетушка Шефика и бессильно опустила на сет.

— Если нужна моя помощь...— начала енге и заплакала. — Зеверджет еще молода... Пусть кончит институт, встанет на ноги... Тогда подумаем.

Как все матери, Шефика решила, что надо защищать дочь от ее же собственного счастья, искать пути спасения Зеверджет. И такими путями были самые обыкновенные отговорки, придуманные еще бабушками и прабабушками. Первой отговоркой, и самой убедительной, считалась молодость невесты, хотя порой возраст ее далеко не соответствовал обычным представлениям о юном существе. К Зеверджет эта отговорка тоже не подходила. Ей минуло двадцать, и не вчера. Следовательно, Абдул Меин должен был понять, что ему просто отказывают.

Но Шефика-енге плохо знала Абдул Меина, не так-то легко было от него отделаться. Он выслушал все доводы, все ахи и охи Чавушей, почесал затылок и преспокойненько изрек:

— Ей надо кончить институт — пусть кончает. Я не против, и Сервер тоже. Теперь невестки должны иметь образование и специальность, в семье больше достатка будет.

Хоть кол теши на голове этого Меина — он гнет свое! Конечно, настойчивость — полезная черта в человеческом характере, однако если она единственная, то это мало радует окружающих. Во всяком случае, Чавуша она раздражала. Он готов был уж вышвырнуть гостя из дому, но вспомнил о Зеверджет. Небось, дочь знает о посещении Абдул Меина и

вместе с Сервером ждет решения своей судьбы. А они тут пререкаются, ворошат прошлое, друг друга корят. Жить молодым, почему же старики должны нянчиться с собственными обидами, выставлять напоказ капризы? «Меня оскорбили Меины, им я и отплачу, а Зеверджет пусть следует своему чувству».

На Абдул Меина и его сына Сервера можно было посмотреть с другой стороны. Старик упрям — верно, хитер — тоже верно, способен обидеть человека — и этого не отнимешь у Меина. Но обязательно ли сын должен наследовать недостатки отца? К тому же Сервер вовсе и не был сыном Абдул Меина. В городке хорошо известно происхождение парня. Родился он в семье уважаемого всеми человека Керима Терзи. Семи лет еще не было мальчику, когда отца призвали в армию. В доме он остался с матерью и теткой. Как они жили — отец узнавал только по письмам, которые, как известно, не всегда вовремя приходили в действующую армию. Да и сообщалось в них только хорошее, радостное, о печальном жена умалчивала. И правильно делала — на фронте своих огорчений немало.

Воевал Керим долго. С Дона повернул на Запад, пошел к немецкой земле. В дороге повстречал такого же, как и сам, солдата, и звали его Абдул Меин. Ратный труд скрашивает дружба. Подружились два солдата — водой не разольешь. Только непостоянна судьба военная. Настал день, когда дороги их разошлись. Ранило Меина, и остался он в госпитале, а Терзи зашагал дальше, в Германию. Не прямой, правда, тропой, а через Румынию и Венгрию. Прощаясь с другом, оставил свой адрес и взял с Меина слово, что после победы они встретятся. На том и расстались.

Кончилась война. Приехал Абдул Меин на юг и остался здесь. Едва устроился с работой и жильем, начал разыскивать семью Терзи. Нашел без особого труда. Но Керима не застал. Не было друга. Погиб он где-то под Будапештом. Жену тоже не увидел — умерла в сорок пятом. Остался мальчонка — Сервер. Жил он с теткой, старой, слабой женщиной. Трудно ей было растить паренька. Посмотрел на них Меин, и защемило у него в груди.

«Отдайте мне мальчика,— предложил он тетушке. — Сын друга все равно что мой сын». Не заставила себя долго упрашивать слабая женщина, поплакала, помолилась и отдала Сервера.

Своих детей у Абдул Меина не было. Судьба послала им сына. Счастливые, они окружили мальчика любовью и заботой. Все делали, чтобы рос Сервер в довольстве. Одевали хорошо, на зависть всем соседям. После школы заставили идти в институт, решили сделать из него инженера. И вот он — здесь. Теперь пора его женить...

Что ж, хороший поступок совершил Меин. И все-таки Чавуш не видел в нем того человека, с которым хотелось бы породниться. Почему-то всех людей он примерял к Диляверу — такие же, как его сын, или нет. Меин не подходил к этой мерке. Вот Сервера, пожалуй, можно сравнить, хотя в детстве он поступил низко, недостойно джигита. Возможно, время выправило парня. Не слишком разговорчива и Зеверджет. Скрыла от отца всю эту историю. А почему? Разве Чавуш когда-нибудь злоупотреблял ее доверием, запрещал поступать так, как требует сердце? Да, дочь мало похожа на Дилявера. Жаль...

— Я не тороплю вас,— вмешался в размеренный ход мыслей Чавуша упрямый гость. — Время терпит... Посоветуйтесь, взвесьте все.

«Время терпит!» Во времени ли дело? Однозначно представляет себе Меин будущее детей. Подсчитать заработок жениха, приданое невесты, измерить площадь будущей квартиры — и готово решение.

— Я, конечно, понимаю, Зеверджет красавица, все это видят,— снова прервал мысли хозяина Абдул Меин. — Но ведь и мой Сервер не последний парень в городке. И собой хорош, и инженер, не то что эти длинногровые бездельники, протирающие штаны в скверах и кино... Подумайте!

Кряхтя, гость поднялся с ковра, расправил свое, как показалось Чавушу, нескладное тело, поклонился с достоинством и, гордо задрав голову, зашагал к двери. Всем своим видом Абдул Меин показывал, как уважает он собственную персону, хотя и явился первым в дом врага и предложил мир. Что мог, дескать, сделал,

и цените мое великодушие, пользуйтесь случаем — вам просто повезло.

— Посидели бы, уважаемый! — робко остановила гостя Шефика-енге.

— Да-да,— поддержал жену Чавуш. — Время терпит..

— Время, оно, конечно, терпит,— задержался у порога гость. — Молодым отпущена большая мера — почти целая жизнь, а мне надо поторапливаться... Будьте здоровы. Заходите и к нам как-нибудь. Дом мой теперь стал еще лучше, и сад разросся.

Порог Абдул Меин тоже одолел церемонно — сначала поглядел на выступ, будто прикинул, высок ли, добротен, потом медленно занес ногу. И вот на пути, не успев еще отпустить свой скрипучий сапог на пол террасы, спросил Шефику-енге:

— А знаете, кто привез Дилявера-младшего из Потти?

Шефика-енге от неожиданности растерялась и заморгала глазами часто-часто, словно ей что-то мешало хорошенько рассмотреть гостя.

— Нет, не знаю...— ответила она. — Какой-то Сережа...

Меин хитро улыбнулся.

— Сережа! Вообще-то можно назвать его и Сережей. Но настоящее имя — Сервер!

Последнее Абдул Меин произнес так торжественно и с такой победной радостью в глазах, что Шефика и Чавуш застыли пораженные — обескуражил их поступок сына этого хитрого и заносчивого человека.

— Как?! — только и смогла выговорить енге.

Ответа она не услышала. Абдул Меин молча направился к калитке.

Вот тебе на! С какой стороны теперь смотреть на своего врага, которого не только не хотел видеть, но дом его обходил за версту? Не простой человек этот Абдул Меин. Совсем не простой. О сыне его, Сервере, и говорить нечего. Парень что надо. Душевный, заботливый, скромный. Привез мальчишку — и никому ни слова, даже Шефике не показался в то утро. И любит, наверное, Зеверджет. Без любви всего этого не сделаешь.

Закружилась голова Чавуша. Мыслей столько, что не умещаются; ни работать, ни спать не дают старому Мустафе. И самая беспокойная, самая занозистая мысль — как решить с Зеверджет, что ответить Меину? Ждет небось этот упрямый козел.

— Апакай,— сказал Чавуш жене,— слушай, апакай, мне кажется, тот случай, что произошел девять лет назад, не должен мешать нам думать о будущем дочери.

— Конечно, эв,— согласилась тетушка Шефика. — Забудем прошлое, чтобы оно не мешало нам. Счастье Зеверджет — в завтрашнем дне.

— Э, ты стала мудрецом, женщина. Как-то раньше я не замечал этого.

— Вы редко смотрели на меня, акай,— смущенно проговорила Шефика-енге.

— Ты мудра, но несправедлива,— укорил жену Чавуш. — Мы, кажется, неплохо прожили нашу жизнь. Пусть дочь удостоится того же.

— Да, да,— закивала енге. — Пусть удостоится... Ведь она без ума от Сервера. Шемснур говорит — они несколько лет переписываются, клятву друг другу дали.

Чавуш насупил брови.

— Шемснур, что она понимает? И не ее это дело, пусть сама влюбится и пишет письма...

Слишком большое увлечение дочери не совсем нравилось Чавушу. Где гордость девушки, где достоинство, где независимость? Ну да что поделаешь — не все люди одинаковы.

— Пусть пожениятся,— неожиданно решил он.

— Пусть,— повторила Шефика. — Так суждено...

Оба вынесли решение одним словом, но каждый по-своему его произнес: Чавуш — с отчаянием, Шефика — с покорностью. Губы Чавуша при этом нервно вздрогнули, а енге вытерла глаза уголком передника.

С этого дня жизнь в доме пошла по-иному. Думали только о Зеверджет, делали все для Зеверджет. Потихоньку Шефика-енге

стала собирать для дочери приданое, а Мустафа все чаще и чаще поглядывал на виноград, прицеливаясь к тем гроздьям, которые раньше других должны были попасть в чан для вина. По обоюдному согласию двух семей свадьбу наметили на осень, на тот месяц, что вершит все дела в саду и приносит последние, самые щедрые дары.

И осень, чувствуя, как ждут ее люди, заторопилась. Раньше обычного стали желтеть листья чинары, раскинувшей свои ветви перед домом Чавуша. Неистовым багрянцем загорелись канны последним огнем лета. Тихими и прохладными стали вечера. В один из таких вечеров старый Мустафа возвращался с завода домой, занятый, как всегда, своими нехитрыми думами. Они постоянно были с ним, эти думы. Никак не мог успокоиться Чавуш, никак не мог обрести равновесие. Кажется, годы его такие, что только тишина способна быть его подругой. А не сосватаются с ней, не обвенчаются. Живет тишина в сторонке по-прежнему. И не вина в этом старого Мустафы. Падают на него заботы как из рога изобилия. То телеграмма с воскрешением сына, то приезд внука, то свадьба Зеверджет. И надо решать людские судьбы именно ему, старому человеку. Решать, торопясь, не откладывая на будущее. Трудная эта штука — быть судьей. Беспокойная, отнимающая сон, разрушающая веру в собственную непогрешимость. Прав ли всегда и тем более сейчас старый Мустафа?

Добresti бы одному не спеша до дома, домыслить то, что никак не домысливается,— так ведь не дадут. Помешают обязательно. Пожалуйста! Около калитки, в тени чинары, какой-то шепот. Затаенный, взволнованный, радостный. Можно было пройти, не обратив внимания. Но ведь голос-то знакомый. Слишком знакомый.

— Зеверджет, ты? — не особенно ласково спросил Чавуш.

— Да, папа.

— А кто с тобой?

— Сервер...

Долгожданная встреча. Не ночью, не на улице хотел встретить будущего зятя Чавуш. Издали сначала, чтобы хорошо

разглядеть, увидеть шагающим. Потом рядом, глаза в глаза. Пусть посмотрит на отца Зеверджет, прямо, смело, если может.

— Иди домой! — сказал строго Чавуш дочери. Она смолкла растерянная, оглянулась на Сервера, тот тоже замер, не зная, как реагировать на слова будущего тестя.

— И ты! — добавил Чавуш.

Встревоженная Зеверджет решила смягчить грубоватый приказ отца и, как могла ласковее, произнесла:

— Заходите, Сервер, будете нашим гостем. Она отворила калитку, пропустила впереди себя отца, потом Сервера и последней вошла в сад.

Шефика-енге в это время возилась у очага, готовя ужин. Она ждала дочь, ждала хозяина, и появление третьего человека в такой поздний час, скажем прямо, удивило и даже расстроило ее. Слишком скромным был для званого гостя котелок, стоявший на огне.

— Не беспокойся, апакай,— предупредил жену Чавуш. — Все свои.

Предупреждение хозяина не сняло удивления, напавшего на тетюшку Шефику. Она, широко раскрыв глаза, смотрела на молодого человека в черном костюме, и только когда он произнес традиционное: «Селям алейким, Шефика-енге!» — к ней пришло, успокоение. Вроде свой человек! Оставила очаг, сделала несколько шагов навстречу и тут узнала жениха дочери.

— Алейким селям, сынок! — приветливо ответила енге. — Проходите в комнату!

— Спасибо. В саду тоже хорошо. — Сервер застенчиво потоптался около террасы, увидел стул под виноградником и присел на него. Ему, должно быть, не хотелось показываться будущим родственникам при ярком свете люстры, что заливал комнату. Очень уж неожиданным оказалось его появление в доме невесты, не готов был жених к помолвке.

— В саду так в саду,— не вдумываясь в причины такого желания гостя, согласился Чавуш. — Накрой стол под виноградником, апакай!

Он сделал знак рукой, давая понять Шефике, что следует позаботиться о закуске, а сам направился к подвалу, где у предусмотрительных хозяев всегда держится в запасе добрый кувшин вина.

Не прошло и десяти минут, как на столе появились маринады, благоухающие специями, выдержанными в уксусе, вино, отливавшее золотом, наконец, вершина кулинарного искусства хозяйки — фаршированные баклажаны с чесноком.

— А теперь садитесь поближе,— потребовал Чавуш. — Все садитесь. И ты, жена... И Зеверджет...

Когда мать и дочь устроились по обе стороны Чавуша, а гость оказался против хозяина с другого края, зажурчало вино, падающее в большой бокал — кадэ. Чавуш выждал, пока все наполнили свои кадэ напитком, и сказал:

— Надо говорить о вас, дети мои, но если бы не третий человек...— Голос Чавуша прозвучал хрипло, будто осенний ветер успел уже заохладить его или к горлу подступила непрошенная слеза. Откашлялся, помолчал немного и продолжал твердо: — Я говорю о Дилявере...

Зеверджет сдвинула недовольно брови.

— При чем тут Дилявер? Какое отношение имеет мальчик к этому событию?..

Чавуш посмотрел на дочь и глубоко вздохнул:

— Ты вспомнила о внуке моем, а я думал о сыне... У меня был сын Дилявер... Твой брат.

— Ну и что же? — с горечью прошептала Зеверджет.

— А то, что он не пожалел себя, сберегая вам счастье. — Чавуш весь ушел в себя, и слова его звучали как ответ на собственные думы, а не на вопрос Зеверджет, случайно, хотя и с обидой брошенный отцу. — Он оставил нам самое большое, чего лишился сам,— жизнь. И еще сына... Маленький Дилявер привел в этот дом Сервера... Вместе с памятью своего отца... вместе с именем его...

Голос Чавуша задрожал и оборвался. Слишком много чувств и мыслей стояло за этими скупыми словами, они так теснились, что мешали старому Мустафе говорить.

— Выпьем, однако, за вас,— неожиданно завершил свой странный тост Чавуш. — За свет ваших сердец...

Все мгновенно забывают неприятное чувство, вселившееся в них вместе со словами хозяина дома, и уже улыбаются. Смеется и Зеверджет. Она ждала именно такого тоста, обычного, простого, понятного. Свой кадэ выпивает до дна.

— Кстати, где мой подшефник? — спрашивает весело Сервер. — Я не видел его целую неделю.

— Его теперь дома не застанешь,— отвечает довольная вопросом Шефика-енге. — То в библиотеке, то на стадионе, то в кино. А чаще всего на реке... Рыболов...

— Я и в Потти его встретил на берегу, где оказался случайно. С удочкой...

Шефика-енге расцветает при упоминании о внуке и его увлечении. Все в мальчишке кажется ей необыкновенным — на редкость серьезен, добр, вежлив. Копия сына!

— Угораздило меня простудиться,— между тем продолжал рассказывать Сервер. — Сижу на солнышке, кашляю, чихаю. Дилявер покосился в мою сторону, говорит: «С вами никакая рыба не клюнет, распугали всех. Сходили бы лучше в поликлинику». — «А где, спрашиваю, поликлиника здесь?» — «Недалеко, идемте, покажу»,— предложил Дилявер. Ну и привел к своей маме, Зейнеб-апте. Прежде, конечно, пришлось выложить о себе все, кто я, и установила товарищ врач, откуда я родом и где мой дом.

Лечила она меня несколько минут, а вот расспрашивала об Узбекистане долго. Вначале я никак не мог понять, почему ее так интересуют наши края. Потом стало ясно. Она спросила, не слышал ли я такую фамилию: Чавуш? Слышал, говорю, и не один раз. Зейнеб-апте не поверила, думала, шучу. Даже обиделась. Но в конце беседы снова повторила свой вопрос: «Верно, слышали? Скажите правду, это очень важно для меня».

Чтобы не мучить Зейнеб-апте, я рассказал ей все, что знаю. Назвал вас, Мустафа-ага, Шефику-енге. Зеверджет. Тут она расплакалась: я же ишу их столько лет! Неужели они?

Остальное вам известно. Упросил ее отпустить со мной

Дилявера. Не сразу, конечно, согласилась. До последнего дня все решала и, наконец, говорит — везите! Только телеграммы шлите с каждой станции, вот вам деньги. Посмеялись, и я выторговал два пункта: место пересадки и конец пути...

— Значит, ты видел ее, сынок? — с просветленным лицом обратилась к Серверу тетушка Шефика. — Как она, Зейнеб, голубка наша?

— Ничего, ничего,— ответил Сервер.

— Здорова?

— Да.

— Молода?

— Как сказать, наверное, молода, вот, правда, в волосах седина.

— Вай анам! — закачала сокрушенно головой Шефика. — Седина! Зачем же седина?!

— А ты хочешь, чтобы люди не старились,— сурово заметил Чавуш. — Столько пережив, не побелеть нельзя.

— Да, да... Только жаль голубку — такая красавица. Шефика-енге едва не расплакалась, она уже подняла кончик платка, чтобы стереть слезу, которая вот-вот появится на глазах, как вдруг на дорожке послышались шаги.

— Сыночек мой, ягненочек! — радостно вскрикнула енге и протянула руки к приближающемуся на дорожке внуку. — А мы уж жаждались.

— Дядя Сережа! — сказал Дилявер после того, как прозвучали обычные вечерние приветствия. — У вас телеграмма от мамы?

— Какая телеграмма? — не понял гость.

— Я просил ее ответить, можно мне остаться здесь, у бабушки, или нет.

— Разве мама не знает твоего адреса? — удивился Сервер.

— Знает, но я думал, может быть, потеряла... Я заходил на почту, и там нет...

— Будет,— твердо решил Чавуш. — Если послала, получим. — В голосе деда звучала затаенная обида. Не нравилось ему молчание снохи. Два письма написал — нет ответа. Теперь полетела телеграмма — и то же самое. Неужели решила испытать сердце мальчика: затоскует, мол, вернется. Дилявер и

верно убивается, задумчивый стал, только и бредит письмами.

— Пришлет, пришлет,— стала успокаивать всех тетушка Шефика. — Недосуг, видно, а там, может, почта безобразничает. Месяцами у них письма ходят...

— Хватит,— поставил точку Чавуш. — Сказал же я: если послано — получим. — Лицо его по-прежнему хмуро, глаза оттенялись грустью. Ничего радостного уже не ждали от него сидящие за столом, но он сказал: — Налей вина, апакай! Выпьем за счастье.

— Ну вот и добро,— кивнул удовлетворенно старый Мустафа. Первым он поднес кадэ к губам, чтобы, по древнему обычаю, вином утвердить желание людей быть счастливыми. «Хотим, просим, требуем счастья,— подумал он. — А чем платим? Или уже заплачено?.. Теми, кого нет... За все, что было и что будет...» Снова прервали думу Чавуша.

— Мама! — вдруг крикнул Диявер. — Мамочка! Крикнул — и со всех ног кинулся к калитке. Там кто-то нетерпеливо, настойчиво стучал. На мгновение в саду стало тихо.

— Зейнеб, ты? — громко спросил Чавуш. И ему ответил родившийся из небытия голос — смеющийся и плачущий от радости голос Зейнеб:

— Я... отец!

Кадэ сам по себе выпал из рук Чавуша и разлетелся вдребезги. Говорят, это к счастью... Наверное, так. Дом старого Мустафы никогда не знал большей радости, чем в тот вечер. Почти до утра не гасли в нем окна.

Что ж, не будем мешать людям, покинем дом Чавуша, тем более, время позднее, да и задержались мы под этим кровом изрядно. Пройдем, любезный читатель, тем же путем, каким пришли в знойный июльский полдень. Через террасу, под сводами виноградника, который уже поредел и поблек,— осень — пора увядания и покоя,— мимо яблонь и слив, освободившихся от тяжести плодов. Кстати, под их сенью отдыхает Диявер-младший. Взрослые говорят не наговорятся, глядят друг на друга — не наглядятся, а мальчик спит. Безмятежно, по-детски раскинув руки. Будущий Диявер Шефика-енге считает, что он

весь в отца. Дай бог! Не станем тревожить его, отворим тихо калитку и так же тихо закроем. А дальше дорога проста — по ночной улице, между белыми домиками, мимо продуктового ларька, который опять закрыт — часы показывают далеко за полночь, через чугунный мост, соединяющий берега канала... По аллее, к центру городка...

Оглянемся последний раз на знакомый, ставший нам чуточку дорогим дом со светлыми окнами. Помашем рукой. Пусть нас не видно, ведь это не так уж важно...

До свидания, Чавуши!